
Маргарита ПАЛЬШИНА

ПОКОЛЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Роман

Between extremities man runs his course.

William Butler Yeats

ГЛАВА 1. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРЕДЕЛОВ

Третий путь? Он существует...

Трамвайные пути упирались в солнце. Над Москвой плыл июль. Зеленый и многоголосый.

«Учеба! Работа!!!» — надрывался продавец утренних газет близ остановки.

Неужели кто-то еще читает газеты?

Они проходили мимо. Рыцари свободного копья. Призраки больших и малых городов. Люди мира. Они учатся всему сами. Не платят налоги, не плодят детей, не живут в кредит. Не значатся ни в каких списках. Где бы ни обитали, везде не местные. Не ждут завтрашнего дня, не помнят вчерашнего. И мечтают лишь об одном: чтобы лето не кончалось.

Из дневника Жанки, на грани столетий

Она приходит ко мне из будущего. Снятся качели в нашем дворе. Ночь. Никого вокруг. Она садится на другой край, и мы поочередно взлетаем в пронизанный звездным светом воздух. Она — это я взрослая. Но никак не могу разглядеть ее лицо, хотя всегда видела лица везде: в узорах коры деревьев, трещинах стен, решетках ворот и люков, рисунках обоев, даже буквы в книгах иногда выстраивались в виде лиц. А своего будущего лица не могу увидеть! Разговариваю с пустотой, а мне столько нужно у нее спросить! Кем я стану? Исполнятся ли желания? Буду ли счастлива, любима?

Взлет качелей: мой вопрос — ее тишина в ответ, глубокая, как колодец ночного неба. Когда в отчаянии спрыгиваю с качелей, она вдруг поднимает голову и спрашивает, о чем мечтаю я.

Маргарита Николаевна Пальшина родилась в 1978 году. Окончила Московский современный гуманитарный университет и Режиссерскую мастерскую при ВГИК. Проза публиковалась в литературных журналах «Нева», «Новый берег», «Пролог», «Гостиная», «Белый ворон», «Сетевая словесность», «Зарубежные задворки», «Млечный Путь», «Поэтоград», «Номо Legens». Лауреат Всероссийской премии «Кинохит-2008» (за сценарий криминальной драмы «Вертикаль»). Серебряный лауреат Международной премии «Золотое перо Руси-2014» (за рассказ-антиутопию «Безбрежные дни»). Лауреат Южно-Уральской премии-2017 (за повесть «Белый крик, красная песня», опубликована в журнале «Нева», 2016, № 4). Финалист премии им. И. А. Гончарова, Славянского форума искусств «Золотой витязь», лонг-листер Бунинской и Горьковской премий 2016–2017 (за роман «Фигуры памяти», издательство «За-За Verlag», Германия, 2015). Живет в Москве.

Просыпаюсь в слезах, потому что знаю: ни одна детская мечта у нее не сбылась. Просыпаюсь все глубже в осень. И осень тоже плачет за окнами, как на вокзале. Оплакивает мое последнее беззаботное лето. Впереди — выпускной класс. Мне говорят: выбирай, кем ты станешь. А я хочу остаться собой. Не из чего выбирать в нашем унылом райцентре. Вот если бы в свободную Америку слетать или дожидаться обнуления, то на другом конце планеты или в новом времени наверняка нашлась бы подходящая для меня судьба. А здесь и сейчас вокруг типовые многоэтажки и серые лица на автобусных остановках.

Странная все-таки цифра нас ждет: двойка и три нуля. Почему ноль по Фаренгейту воспринимается язбче, чем минус семнадцать по Цельсию? Потому что ноль кажется абсолютным, но это по Кельвину, минус двести семьдесят три по Цельсию, хотя папа и утверждает, что на практике такое состояние недостижимо. А я верю, что он есть — где-то в межзвездном космосе.

Ноль уничтожает любое умноженное на него число, в школе твердят «на ноль делить нельзя». А что будет, если на ноль умножить или разделить бесконечность?

Неопределенность пределов, говорит папа. Он математик, и цифры для него — язык описания мира, способ его исчислить, а значит, понять. Например, он мог бы написать уравнение танцующей на песке у моря девушки или полета птицы над городом. Но не может понять меня. Я для него — неопределенный предел терпения. И для мамы тоже, хотя она и гуманитарий.

Что ж тут поделаешь, если год моего рождения — восьмидесятый. Вертикальная бесконечность, умноженная на ноль. Но предки считают, что восемьдесят — это восьмой десяток столетия, ни к чему его переворачивать в череде веков, а я просто подросток, полный внутренних противоречий.

По-моему, шестнадцать лет почти старость. У предков время законсервировано, как в банке: под новый год открывают, съедают ложечку меда (или дегтя?) — и закрывают. Их время — смена цифр в календаре, а для меня прошлый год — как другая жизнь.

Пообещала им: вот состарюсь — и выброшу всю косметику, в шестнадцать не понадобится «боевая раскраска под индейца». Старшекласснице не у кого отвоевывать территорию на школьных дискотеках: то, что принадлежит тебе по праву, перестает интересоваться.

Теперь по ночным клубам шляемся со взрослыми мужиками и тетками под двадцать тусоваться, у некоторых из них уже дети, а все туда же, типа молодость. И никто никого толком не знает на танцполе.

Воруем у Алискиного брательника из карманов контрамарки. Накопили коллекцию: красные, зеленые, оранжевые, золотые. Гладим уютгом и проходим на халяву. Билеты нам бы не продали, а в толпе удастся проскользнуть. И красимся уже под египтян — черными тенями. Предки дают нам деньги на такси из клуба домой, а мы спускаем их на «отвертки» и «блудливых мэри».

Сквозит. Холодно, до дрожи.

Интересно, кто-нибудь видел замерзшую водку? Может, в Якутии? Или космонавты на Луне по ночам лизут заспиртованный лед? Или наоборот: под строчку Есенина «с бандюгами жарю спирт» всегда отчего-то представляются революционные костры, одна бутылка на весь замерзший Питер — кладут на жаровню и дружно вдыхают спиртовые пары.

Спиртного в холодильнике, конечно, не оказалось, для него всегда почему-то нужен повод. Жаль, добавила бы капельку в чай, чтобы согреться. Батареи включают на ноябрьские праздники. Самое мерзкое время: тепла в доме еще нет, а на улице уже холодно. И ветер с дождем прямо в окна.

Как-то мама в порыве откровения сказала: «На вас вся надежда! Наше поколение никогда не вырвется из Страны Советов. Рожденные в семидесятых — потерянное поколение, вынуждены выбирать судьбу на перепутье, в эпоху развала и разгула, а вас, может, и вынесет штормовой волной на берег благополучия, сумеете сберечь себя для счастья».

Ага, Изумрудный город выстроим и забаррикадируемся от старших братьев и сестер. Они и сами бы нас замуровали в стену, как в ужасниках Эдгара По, чтобы не подглядывали.

Наивная она, на самом деле с каждым поколением все безнадежнее, потому что мы все предыдущие разочарования в себе несем. Это как папины фракталы Бенуа Мандельброта: меньшее растет из большего, повторяя его в произвольной форме. Случайно и непредсказуемо.

У деревьев из хаоса рождается гармония. У людей нет. Я люблю рисовать деревья, переплетающиеся ветвями. Или чтобы их тени на земле, соприкасаясь, напоминали влюбленных, держащихся за руки. Однажды нарисовала, как сосна корнями обнимает прибрежные скалы. Школьный психолог, Олеся Николаевна, похвалила и сказала, что корни — это крепкая связь с родителями...

За чаем прочла в рассказе Набокова словосочетание «складные картины» — и сразу в памяти заскребся тот сизый сентябрьский рассвет после первой по-настоящему серьезной ссоры с мамой. Ночь напролет я бездумно выкладывала в ряды квадратички с листьями лиан, тигриными глазами и спинами, кусочками синего неба и облаков. Механическое действие лучше всего успокаивает. Это было любимым семейным занятием — собирать мозаику, а папа аккуратно наклеивал ее на кусок картона и вешал на стену, как картину.

Мама вошла в кухню в шесть утра, кутаясь в махровый халат. Заплаканная. Тоже всю ночь не спала. Тихо обняла меня и сказала: «Ложись! Я напишу тебе записку для школы». И начала собираться на работу. Я подумала: «Жаль, что взрослым некому написать освободительную записку».

Сейчас бы все сложилось иначе. Олеся Николаевна научила меня жить мечтами о будущем. Руки Хирурга сняты реже, я будто выдохнула, избавилась от страха и стыда, но это только с ее появлением в школе, а до встречи с ней я была сама не своя.

Застала маму с дневником в руках. Дневник я хранила в шкатулке, а резной ключик носила на цепочке, как кулон. Заходил кто-то из друзей, отвлек, и я забыла дневник на столе. Обыкновенная школьная тетрадка. Мама решила, что тетрадка с сочинениями, и принялась читать. Ей нравились мои сочинения, тетрадки по литературе — единственные с высокими отметками, преподаватели остальных предметов мрачно констатировали: «Жанна не учится, ничто ей не интересно, выползает на тройки-четверки за счет генов». А литераторша мной гордилась. И мама тоже.

«Ненавижу мать и лгу на каждом шагу», — прочла она в моем дневнике. Губы задрожали, пальцы побелели. Отшвырнула дневник и повалилась на диван, будто ей кто подножку подставил. Я в дверях комнаты стояла, все видела.

Сейчас обняла бы ее и сказала: «Мама, не плачь! Во всем виноват мой неразборчивый почерк! Это не буква „м“ и не „мать“. Только те, кто не любит родителей, говорят о них „мать“, „отец“, отстраненно. Я же всегда говорила „мама“, „папа“ или в шутку: „предки“, „черепа“, „шнурки“... — и мы вместе смеялись. В дневнике написано: „ненавижу лгать“. Ну вот же, видишь, точно такие „г“ галками ниже в словах „говно“ и „гаснет“. Как ты могла прочитать плохое?» И мы бы никогда не поссорились так страшно».

Но я была не той, что сейчас. Визжала на всю комнату, что нечестно читать чужие дневники, нужно просто быть рядом. А после до рассвета собирала мозаику, пытаюсь

понять, что же произошло между нами, прочувствовать силу отчаяния. Точно язык отнялся, и среди множества бесполезных слов, как в коробке с мозаикой, затерялся единственный нужный квадратик со словом «Прости!».

Потом я ей все объяснила, но потом — значит, «слишком поздно». Что-то треснуло между нами в ту ночь, из отношений исчезли тепло и откровенность. Что-то важное, что уже не склеить, было утрачено.

Может, поэтому и продолжаю вести дневник: надо же хоть кому-то довериться, даже если этот кто-то — ты сама.

Звонок в дверь. Длинная трель и сразу короткая. Марат.

С порога:

— Ну что, напишешь, как договаривались?

— А деньги принес?

Потоптался на коврике, извлек из-за пазухи блестящую коробочку.

— Вот.

Открыла.

— А почему тени розовые тронуты? У мамы скоммуниздил?

Впрочем, из всего набора косметики пригодятся только квадратики с черными и фиолетовыми тенями и пудра — белая. Лучше б деньги принес, придурок, купила бы в секунд-хенде кожаную кепку под Клауса Майне.

— Да ты офигела! Набор — прямо из дьюти-фри. Где ты в нашей дыре такое достанешь?

— Ладно, сдую, щеточкой почищу. Проходи.

Уселся на диване в моей комнате. Бегло осмотрел рок-н-рольные плакаты и уставился на сиськи Сабрины. Специально для них повесила. Пока мечтают, могу спокойно сосредоточиться — и написать. А финский «Rolling Stone» не дам ему листать, святое.

Помню, мама частенько штукатурилась перед моим трюмо: комната на солнечную сторону, а трюмо папа сделал из верстака и самого большого зеркала, которое тогда удалось достать в магазинах. Удобнее не придумаешь. Стену напротив окна я и украсила плакатами. Мама увидела искаженные экстазом рожи вопящих на концерте рокеров в зеркале за спиной — чуть припадок с ней не случился от страха. Больше не приходит. Красится в ванной, там тоже свет ничего, яркий.

Хотя рок-н-ролл в семье у всех в крови. И свадьбу в студенческом общежитии они играли не под Мендельсона, а под популярную рок-композицию конца семидесятых, о которой все думали, что она о любви, а на самом деле — о тяжелой жизни индейцев в резервации. Но об этом мои родители узнали через много лет счастливой супружеской жизни. Это мы сейчас об Америке мечтаем, а они в школе учили немецкий.

«Close your eyes and I'll try to get in... 'cos I was born to touch your feelings...» — засунула кассету «Scorpions» в магнитофон — они всегда меня вдохновляли.

Еще летом отправила в городскую газету стихи:

Просто сумерки,
И не ночь, и не вечер.
И без умолку
Ветер на ухо шепчет
Те слова, что стесняюсь сказать...
Взять бы под руку ночь да пойти гулять!
Переулками,
Звезды накинув на плечи...

Красиво же? А они не напечатали. Даже не позвонили.

И теперь пишу для одноклассников и дружков из моего квартала розовые записочки вроде: «Ты мне сегодня приснилась...» или «Я вижу, как твои руки обнимают меня...».

Пацаны их переписывают — с ошибками, своим почерком, чтобы никто уж точно ни о чем не догадался, и суют в карманы пальто в школьном гардеробе или в почтовые ящики всяким прыщавым, но грудастым девкам.

А для крутых, вроде Марата, сочиняю коронные фразы — что нужно сказать, чтобы дали прямо в подъезде. Он их наизусть заучивает. У кого из властителей дум, интересно, власти больше: у драматургов или у писателей? Неважно, все они, из школьной программы, умирали в нищете и забвении, а я процветаю. Потому что талант изначально был мерой золота. Это потом его закопали в землю и превратили в недоказуемый миф. Говорят, в знании — сила. Я считаю: свобода. Всякий волен выбирать, на что употребить свой талант, если он есть.

Когда меня пытались отчислить из школы за порубленные топором джинсы, наша классная кричала маме: «Дочитались! Жанна, девочка из интеллигентной семьи, ходит в школу хуже бомжа одета, куда уж свободнее! Беспредел!» Утверждает, что читать за пределами школьной программы — преступление, то же самое, что за взрослыми подглядывать.

А мама свято верит: если человек читает, все у него в жизни так или иначе, рано или поздно сложится. Дома у нас почти александрийская библиотека, запрещенных книг в семье нет, читаю что хочу. Твердит только: «Береги глаза! Не читай в темноте!» Как секретарь мама имеет доступ к ксероксу на работе. Года три трудилась: отксеренные пачками талоны на водку меняла на раритетные книги. Так что теперь стеллажи доверху забиты самиздатовскими диссидентами, «Иностранкой» и подписными журналами «Юность» и «Новый мир».

Потом в старших классах в школе объявили свободную форму, а мама решила, что родительские собрания ее тонкая нервная система гуманитария не выдержит. И теперь туда, как на каторгу, каждый месяц ходит папа. На семейном совете постановили: раз классная алгебру и геометрию преподает, папе-математику легче будет найти с ней общий язык.

Караюлю его на лестничной площадке, тайком покуривая.

«Ну как?» Он тяжело вздыхает: «Все то же». И добавляет заговорщицким тоном: «Но мы не будем расстраивать маму».

Отчего мне все время кажется, что в книгах правду пишут, а по жизни лгут?

— Готово? — трясет за плечо Марат.

— На, читай.

— Ощутить трепет твоих век на губах... Это еще что за хрень?

— Она закрывает глаза, а ты целуешь ее в сомкнутые веки, она тебе доверилась — и ты принимаешь этот дар. Полное растворение друг в друге. Есть такое состояние, как абсолютная близость. Когда закрываешь глаза и... любимый человек может делать с тобой все, что захочет, хоть кусочки плоти вырезать себе на амулеты. Высшая степень доверия, понимаешь? Она расслабится — и тут ты бери ее тепленькой, голыми руками.

— Круто! Тебе надо на психолога пойти учиться после школы. А вообще — грейт сенкс. Много понаписала. Половину использую для Инги, а другую — для Майки. Пусть будет запасной вариант на Хеллоуин.

Ушел довольный.

Лучше бы они говорили и писали то, что думают. Но когда они это делают, девки их посылают. Ясное дело: ни хаты свободной, ни денег, чтоб напоить девку до беспмятства, нет. А тут медленный такой период созревания в подъезде у почтового ящика.

И почему Инга? Майка-то понятно, кто ее только не. А Инга — странная. Тихоня невысокого роста. И взгляд... будто сквозь тебя смотрит куда-то в иные измерения. Так и подмывает спросить: «У меня что, привидение за спиной?»

Еще подумалось, что трахаться в подъездах могут позволить себе только рок-звезды. Их никто не осудит: всего в жизни добились — недостижимая для обывательской морали высота. Для них падение — еще один полет. А если ты никто, то лучше и не падать. Грязь отвратительна. Как болото: сильный проскачет по кочкам на другой берег, слабого засосет.

Я вот не собираюсь сидеть на скамейке запасных. Когда человек любит по-настоящему, отдает все до капли и не может быть никаких «вариантов».

И вообще: нельзя писать о любви! Потому что невозможно. Не получится обойтись без пошлости. Только ощутить трепет сомкнутых век...

Джанет, в нашем веке

После второго звонка в дверь Джанет на цыпочках пробежала по квартире, щелкая выключателями. Звонили тихо, но настойчиво. Стражи порядка? Когда соседи-гастарбайтеры теряют ключи, жмут так, что штукатурка с потолка сыплется. А звонящий — человек вежливый, но явно по ее душу. И знает, что дома.

Третий звонок.

Джанет замерла у окна, напряженно глядя в антрацитовый вечер. Светящаяся тьма. Фонарь пульсировал в ветвях каштана на ветру, как сердце дикобраза на анимированном рентгеновском снимке.

Откуда возникает страх перед людьми за дверью? Никогда не отпирала, чтобы понять, а двери на съемных квартирах как на подбор либо не имели глазка, либо выходили в общую прихожую, и невозможно было узнать, кто за дверью, не обнаружив своего присутствия.

Четвертый звонок. Так на краю памяти звонил лишь один, но его не могло быть сейчас за дверью. Из прошлого не возвращаются.

Она же, очнувшись от тишины, вернулась к компьютеру. Авиабилет до Неаполя за сто пятьдесят евро. Забронировать? Да. Чтобы стать свободной, нужно выдумать кучу правил и неукоснительно их соблюдать, иначе будешь жить по чужим. Первое правило гласит: хочешь счастья — избегай зимы.

После детства на севере Джанет гналась за летом. Сентябрь в Москве — эпидемия суеты и нервозности. Слово вчерашним отпускникам объявили, что они доживают последние дни. Пора, вновь решила она. На сей раз — в Сорренто. Город над морем из далекого сна, где по-прежнему реяли буревестники Горького. Девяносто заветных дней, а дальше до безвизового Туниса через пролив рукой подать.

И скрываться ей незачем. Ничьих законов Джанет не нарушала, жила по своим. Не убийца, не вор, не преступник. Просто выдумщик или, как сейчас принято говорить, креатор. «Я пишу сказки», — уклончиво отвечала она на вопрос о занятиях. Хотя за последние годы не написала ни строчки. Мама оказалась права: пером на жизнь не заработаешь. Стезя писателя в наши дни — хобби. Как переводчика или редактора Джанет обвиняли в невнимательности: прощала авторам и ведро спелой вишни в мае, и сваренную на языческой Руси картошку, полностью погружаясь в придуманный ими мир. Свои коммерческие, «не принятые» заказчиком и неоплаченные статьи до сих пор то и дело нагугливали в Интернете. Бессмысленно бороться с теми, кто сильнее тебя, — учись у них. Художественную литературу заменила прикладная. Училась всему сама. Сайт заказчика в случае неуплаты можно уничтожить. Разработка сайтов вела напрямик в электронную коммерцию, а из нее — к махинациям. Словечко обывателей. Джанет говорила: «приключениям».

Самым интересным приключением, пожалуй, были ночные райдеры. Любой запрет порождает новые возможности — сказочно разбогатеть тому, кто сумеет его обойти. «Riders on the storm», — напевала она вслед за Моррисоном, в очередной раз переноса виртуальное представительство по продаже алкоголя в ночные часы на новый хостинг. Парни варили самогон в Подмоскowie, разливали по бутылкам с этикетками элитного алкоголя и отправлялись по звонку в ночь. Русскому мужику сколько ни покупай — все равно бежать за второй. Сайт постоянно блокировали, но каждую ночь он всплывал на просторах Интернета, а райдеры, груженные под крышу, до рассвета колесили по неспящей Москве. Строчками кода Джанет писала историю их дорог.

Виртуальная жизнь позволила колесить по миру и ей. Джанет никому не должна, ее нигде не ждут. Может зарабатывать из любой точки мира. Ни с кем не связана дольше, чем на проект. Любой социум воспринимала, как охотник тайгу, где каждый хищник выживает сам по себе, в одиночку, предчувствуя опасности и рискуя оправданно, тщательно продумывая возможности и взвешивая на ладони судьбы свои способности. Не решалась идти на крупного зверя — белые корпорации с миллионными заказами, зная, что не выстоит против, так как все они склонны превращать фрилансера в раба двадцать четыре часа онлайн, что значит убить охотника. Работала, как промысловик по пушному зверьку: для мелкого, но ценного бизнеса, или, проще говоря — теневого. Кому есть что скрывать — готовы платить дорого.

Родителям аккуратно звонила раз в неделю — сообщить, что жива-здорова. А все прочие, кто жаждал семейных уз и оседлости, остались в прошлом. Времени нет, повторяла себе, мельком отмечая, что любовники меняются, как времена года, и год от года молодеют. Лишь недавно задумалась о быстротечности времени и, следовательно, существования. Сначала весной в аэропорту, в очереди на таможенный контроль, обнаружив в паспорте спутника девятку в годе рождения. А позже летом, в московском парке, узнала от парнишки-брейк-дансера, что дети нулевых уже доросли до того, чтобы крутиться на голове и стрелять сигареты.

И сейчас, сверяя цифры авиабилета Москва—Неаполь, Джанет вновь окунулась в чувство, что всю жизнь от чего-то бежит. Или от кого-то.

Из дневника Жанки, на грани столетий

Каждую осень ветер гонит по Озерному проспекту вниз, к набережной, вихри желтых листьев. Морозный, прозрачный воздух, осыпается иней с веток, и, кажется, город цепенеет, медленно погружаясь в зимнюю спячку. Я останавливаюсь посреди проспекта или набережной, пытаюсь расслышать слова колыбельной. Но улавливаю только мелодию, она похожа на тихий перезвон маленьких колокольчиков.

В этом году снега не ждали. Деревья не успели облететь, ветрогона не было. Ветки гнутся к земле под тяжестью снежных шапок на листьях. Сыро, промозгло. Снег идет и идет, вторые сутки подряд. Говорят, многие деревья сломаются, погибнут. Ощущение полной беспомощности: жалеть — жалеешь, а спасти не можешь, нечем помочь, не будешь же соскабливать лед с листы каждого дерева.

Еду на троллейбусе до Зареки — бесцельно бродить по размытым, чавкающим грязью дорожкам меж деревянных домов, словно бегу из скандинавского чистенького и уютного городка на окраину Руси, в есенинское прошлое. Перешагиваю через трухлявые поваленные стволы берез, заплетаю в косы ветки плакучих ив над рекой, которая давно никуда не течет и напоминает болото.

— Это не наша, это зарецкая грязь! Что ты забыла в этом убогом районе? — поморщилась мама, разглядывая мои ботинки. Не успела их вымыть перед ее возвращением с работы.

— Там опасно, самый криминальный район города! — поддержал ее папа.

— Не опаснее нашего.

Чуть не крикнула снова: «Забыли Хирурга?»

Но они и так все поняли, замолчали и прекратили расспросы и убеждения.

Зарека — корни нашего города. Старые дома, сохранившиеся или перестроенные со времен петровской слободы вокруг пушечно-литейного завода. Наш город вырос из этого неказистого поселка, и теперь мы все живем в новых многоквартирных домах, а зарецкие — в историческом прошлом. У нас одинаковые окна: не отличить ни днем, ни в сумерках, когда светятся, а у них — на каждом окне резные наличники и ставни с поэтическими узорами разного цвета и формы. Там часто отключают свет, и в окнах зажигаются свечи.

Я еду на Зареку тайком, с тех пор как увидела его в июне. Тополиный пух кружился в солнечных лучах, как снег. Он танцевал у калитки, изображая лунную походку. Загорелый, в обтягивающих джинсах, голый по пояс. Гибкий, как канатоходец. Почувствовал мой взгляд, поднял голову и улыбнулся. Черные глаза — ожог!

Таким я представляла себе цыгана Лойко Максима Горького.

Учительница по литературе призывала меня любить Гоголя. Но я его ненавижу! «Шинель» — бесконечная цепь постыдных унижений. Половая тряпка, а не шинель. Персонажи «Мертвых душ» вообще паноптикум какой-то — один другого уродливее. Русью-Тройкой правит нерусский, потому что русский человек — созерцатель, он на печи лежит, думает, а не суетится, скупая чужие мертвые души. А вот Горьким я зачитывалась, его герои стали пределом всех моих мечтаний. Кто-то скажет: романтические персонажи нежизненны и банальны, но зато как они красивы! Они — герои, а не маленькие жалкие людишки!

И тогда, в июне, под тополиным пухом, похожим на снег, я увидела живое воплощение своих грез.

Снег кружится за окнами троллейбуса. Сейчас на остановке разъедутся двери, он вбежит по ступенькам, увидит меня — и улыбнется, как тогда. И будет таять снег на черных волосах, и буду таять я, как в самом сладком сне... Надо срочно придумать оправдание, если спросит, куда еду, почему на Зареку? Бабушка там у меня жила, например, тоскую, хожу вокруг старого заколоченного дома, вспоминаю детство, которого не было до того, как мы переехали в новый район... Но ему же необязательно рассказывать, что не было, что никогда не жила на Зареке. Не станет же он узнавать семейные истории всех заколоченных зарецких домов!

«Кличка — Джексон. Зовут Женей», — позже сообщил Марат, ходячая энциклопедия тусовщиков города. Всех и все про всех знает.

Здорово, подумала я, что наши имена начинаются на одну букву, словно увидела тайный знак. Букву, с которой начинаются все неприятности. Или приключения?

— На хрена он тебе сдался? Нищета цыганская, у него даже ванной нет, чтоб помыться.

— Образ бродяги. Писать о любви нужно учиться у менестрелей.

— Так он двух слов связать не может! Дебил. Абсолютный ноль.

— Сам ты дебил, Марат!

Больше о Джеконе не разговаривали. Надо бы что-нибудь еще о нем выяснить у того, кто в поэзии смыслит, а не девок по подъездам тискает.

Результат прогулки по Зареке: насквозь промокшие ноги, черные щеки и пальцы — потекла косметика, не спас даже натянутый на глаза капюшон куртки. Снег с дождем, грязь под ногами — и ни души вокруг.

Отчего-то вспомнился такой же внезапный снег в прошлом апреле. Выпал накануне майских праздников, у папы как раз был отпуск. И мы торчали с ним вечером на лестничной площадке, он курил, а я донимала его вопросами.

«О чем ты мечтаешь?»

«Каждый год на три-четыре дня город окутывает нежно-зеленая дымка. Клейкие юные листочки на деревьях, почки можно размять в ладонях и вдохнуть запах начала начал. Самые счастливые мгновения весны. Десять лет уже пропускаю: то научные конференции, то доклады, диссертация... В этом году решил: все, нельзя пропускать весну! Взял дни за свой счет — и вот...»

Не глядя, махнул рукой в сторону окна. За плечами не падал, а отвесной стеной стоял снег. Тусклый свет рыжих фонарей пробивался сквозь густую пелену. Папа думал, я не замечу в темноте подъезда, но когда повернулся в профиль затушить сигарету, в контровом свете вспыхнули выступившие на глаза слезы.

«Знаешь главное свойство времени?» — спросил он.

Я помотала головой.

«Все проходит, как снег, боль или отпуск. Жаль, что и жизнь тоже. Не завершается, а проходит. Делал что-то, делал, не успел доделать — и уже шагаешь по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город».

Мне стало невыразимо тоскливо. Я решила жить быстро, как герои рок-н-ролла, каждый день — как последний. А о смерти к тому времени уже почти все знала.

Впервые поняла, что живое хрупко и может погибнуть в любую минуту, когда мне было лет семь или восемь. Бежала за автобусом наперерез через площадь. Площадь была покрыта сизым шевелящимся ковром голубей, клевавших хлебные крошки. Я бежала, голубиное покрытие мгновенно превращалось в ковер-самолет. Мне и в голову не пришло, что птица может не взлететь, не увернуться. И вдруг под ногой — что-то скользкое, мягкое хрустнуло. Воробышек *собирал* крошки подле голубей. Я ощутила необратимость прошедшего времени глаголов: больше не собирает — и никогда не будет. Баюкала в ладонях еще теплый трупик.

Взрослые за спиной перешептывались:

«Может, закопаем птичку под деревом? Девочке легче станет».

«Не трогайте, первый опыт смерти. Надо пережить, осознать».

Вскоре все разошлись, а я осталась одна посреди площади. Воробышек на ладони был уже холодным.

Позже в жизни возник Хирург, и я узнала, как приходит смерть. Больно, но буднично. И ничего ты с ней не поделаешь.

С бабушкиных похорон тоже все родственники расходились, обсуждая какие-то мелкие домашние дела, каждый в свой будний день. А она осталась одна под каменной плитой за оградой кладбища.

Часто мне потом снилось, что она по-прежнему с нами, но словно не в нашей квартире, а в какой-то чужой. И песок летит в раскрытые окна, замечает полы, столы, шкафы, и мы уже по горло в песке, не можем пошевелиться. Она просила вымести песок из дома. Я рассказывала о снах родителям, мы возвращались на кладбище и укрепляли могилу: почва оказалась песчаной — и памятник проседал, сгибался к земле, чуть не падая.

В день поездки на кладбище покупали цветы, и папа говорил, что нет смысла делать крюк от дома к цветочному магазину, чтобы потом возвращаться обратно на автобусную остановку, что цветы можно купить у дороги перед кладбищем. Мама ворчала: «Математик! Ничего-то о жизни не знаешь». Однажды и я увидела, как нищие забирают еду и сигареты у покойников, и поняла, почему мама заставляла нас делать этот крюк.

Гуляя сегодня по Зареке, мечтала, что мы с Джексоном будем как Орфей и Эвридика. Мимолетная встреча летом, зимой — разлука и царство тьмы, но если я начну замерзать, он придет и согреет, спасет меня своим танцем. Или как Геро и Леанр: ночью я зажгу в комнате свет, он переплывет зарецкое болото, и мы уже никогда не расстанемся.

«Ты мой свет в окошке», — твердила мне покойная бабушка.

Евгений Романов, в нашем веке

Он узнавал птиц по голосам и мог исцелить любое мохнатое существо. В городе к нему обращались не иначе как Евгений Романов или доктор Романов. Уважали все, кто любит животных. В северном краю животные — залог тепла и уюта в доме.

Антрацитовый блеск глаз скрадывала легкая седина на висках. «Рано, Жен», — сокрушалась мать. Но только таким он смог обрести самоуважение и жить в ладу с самим собой.

«Вырождаемся, — рассудил отец. — Единственный сын как ракло¹ рос, так и всю жизнь не делом занят».

«Брось, животных природа исцеляет», — поддакивала мать.

«Больше нет. Звери в нашем безумном мире больны, как и люди», — отвечал Евгений.

В восемнадцать лет добровольно пошел в армию — служить в горячие точки. Чечня не иссякала, а его черные глаза как раз там были востребованы. Ходил в разведку и на переговоры в аулы. После имел льготы на обучение. Выбрал профессию ветеринара.

Однажды вылечил даже львенка из гастролирующего цирка. Львенок терял зрение, плохо ориентировался в пространстве. Альбинос, ничего не поделаешь. «Держись, тезка, прорвемся», — шептал ему, капая в глаза бабкины отвары. Евгений был единственным врачом в городе, не чуряющимся нетрадиционной медицины, способной исцелить безнадежно больных. В умелых руках и скальпель, и дорогие лекарства в фирменных упаковках, и дары природы превращались в мощную систему обороны хрупких, теплых мирков внутри тел от смертоносных ветров отчаяния. Белый лев вырос на арене, судя по афишам: цирк приезжает в город каждое лето.

Семья Евгения кочует по городам, точнее, ее женская половина. Отец умер в пути, не дождавшись коронации сына. Старшая сестра выгодно вышла замуж в Санкт-Петербурге, а куда дальше они отправились всем табором — устал следить. Вздохнул с облегчением, когда проснулся один. С периодичностью раз в полгода звонили и требовали денег в связи с финансовым кризисом или рождением очередного наследника. Евгений включал режим экономии и высылал перевод, чертыхаясь процентам. Зарплата у царя зверей не соответствует признанию в кругах общественности, а руку не золотил никогда — цыганские корни в прошлом. Позже научились справляться сами.

Старый дом потихоньку в кредит облицовал сайдингом, сделал ремонт, провел электричество и горячую воду, печь перестроил в камин. На пустыре в конце улицы вместо поля разбили парк, рядом с ним выросло двухэтажное здание — единственная в городе клиника для домашних питомцев. Живет почти на работе.

И вот вчера принесли кошку по имени Жанка.

Иногда забытое слово может всколыхнуть... вечность.

— Неподходящее имя для кошки, — подумал вслух.

— Почему? — удивилась хозяйка.

— Кошке нужен дом.

¹ Не цыган, чужой.

— А Жанке — нет?

Она не вернется. Евгений знал это, как «Отче наш». Чувствовал, как ветер в камине сквозь сон. И даже выходя из дому в ночь, чтобы услышать ее далекий голос из-за невидимого в темноте горизонта. Она научила его читать: не складывать буквы в слова, а искать скрытый за ними смысл.

— Когда прадед паспорт получал, спросили: чей будешь? Цыгане, ромы... Как еще могли записать? — пересказывал семейную байку.

— И Нищий стал Принцем, — шутила она в ответ. — Романовы — царская фамилия.

Царем он и стал, но не для людей — для животных. Впрочем, благодаря им и для некоторых людей тоже. Для людей особой — самой лучшей — породы. Другие не в счет: цивилизованное общество строится милосердными к нижестоящим на ступеньках эволюции, законы бытия всегда справедливы, и истинная власть дается тем, кто их соблюдает.

Благодаря Жанке Романов нашел ответы на все свои вопросы в книгах. Кроме одного: был ли он честен с ней, рассуждая о цыганской свободе? Когда точно на временном отрезке пути родилась его собственная мечта: всецело принадлежать обществу, найти свое место в нем, стать его неотделимой — полезной — частицей, до или после встречи с Жанкой?

«Я не искала бы тебя, если бы уже не нашла в своем сердце», — хранил он ее выцветшую записку. Лишь спустя много лет Евгений узнал, что книжная эта фраза адресована Богу.

Из дневника Жанки, на грани столетий

Осень в этом году нервная или зима нерешительная? Ночи разбрасывают по небу не звезды, а пригоршни крупного льда. Но после снегопадов настали сухие ветреные дни. Был снег — и исчез. По-моему, если выпал, так лежи. А когда ни то ни се, не знаешь, что чувствовать. Как во сне живешь. И только Млечный Путь ледяной дорожкой от балкона прямо в зиму.

Что-то нас ждет...

Утром решила погадать по книге. Взяла первую попавшуюся с книжной полки, открыла наугад и прочла: «Идеализм — крайняя форма отчаяния. Сон наяву»².

Мне часто снится наше идеальное будущее. Сегодня ночью мы с Джексонем катились на светящихся роликах по Озерному проспекту вниз, к набережной. Над головой — звезды, за плечами — россыпи золотых фонарей. Головокружение огней!

Таких роликов в продаже нет, есть только велосипеды с катафотами, отражающими свет, они тускло мерцают в сумерках, но не светятся сами. Светящиеся ролики изобретут в двадцать первом веке. Останемся ли мы там и наяву вместе?

«Придерживайся своей стороны», — сказал Джексон во сне.

Вечером поджидаю Леру возле университета. Подруга старше на год и уже учится на юриста. Лера серьезнее меня, за год до поступления выбрала факультет, будущую профессию, посещала подготовительные курсы, всю весну и лето зубрила, поступила. Теперь придется выбирать мне. Но я не знаю, чем заняться и куда пойти учиться после школы. Мама твердит: «Только не филфак! Посмотри на меня, на свою учительницу по литературе... Читать книги можно и нужно вне зависимости от образования, которое должно кормить не только душу». Но другие предметы меня не интересуют. Литература учит жить, и кормить надо душу, а она научит кормиться тело.

Сегодня все пошло не так: опаздывала, а светофор на перекрестке не работал. Побежала до следующего. Могла разминуться с Лерой, но страх очутиться под колесами пересилил, с детства боюсь машин.

² Н. А. Бердяев.

Вдруг за спиной раздались резкие хлопки. Визг тормозов. Оглянулась: на противоположной стороне улицы у перекрестка столкнулись вишневая девятка и джип. С водительского сиденья девятки, развернувшейся от удара поперек дороги, в распахнутую дверь выпал водитель. Это в него стреляли. И на глазах у всех выстрелили еще раз — в упор.

Не помню, сколько прошло времени. Оно как будто перестало существовать. Бандиты смылись. Примчался милицейский уазик. Улицу перекрыли. Все столпились вокруг лежащего на дороге бизнесмена. Привстала на цыпочки — из-за спин увидеть, как из кармана пиджака выпал остов часов на золотой цепочке. Уже без циферблата. Говорят, ТАМ времени нет. Он ушел туда, и его земное время исчезло.

А чуть поодаль, на тротуаре, несколько прохожих стояли над другим телом.

«Опять разборки! Студента рикошетом задело», — услышала, подходя ближе.

Студент лежал на газоне, раскинув руки, и смотрел в небо. Глаза у него — как у Джексона: радужки сливаются чернотой со зрачками, а внутри — очерк летящих по небу облаков. Будто прилег на траву отдохнуть или, как в игре, притворился.

В детском саду мы играли в «Оживи мертвого». Нужно лечь на спину, скрестить руки на груди и ни за что не шевелиться. Тебя щипают, тормошат, щекочут, пока не оживешь. Выигрывал тот, кто дольше всех оставался мертвым.

Мне нестерпимо захотелось ущипнуть студента.

Зачем все это? Учишься в школе, набираешься знаний в университете, чтобы шальная пуля в одно мгновение вышибла их из тебя? Зачем планировать свою жизнь, если все в ней так непредсказуемо, так ужасно случайно?!

Вернулась домой и села писать письмо Джексону.

«С тех пор, как узнала тебя, боюсь потерять».

Что я знаю о нем? Мы незнакомы.

«С тех пор, как увидела тебя в июне, боюсь потерять».

Не потеряю! Стоит зажмуриться, и он, как сейчас, танцует перед глазами.

«Мой мир разделится надвое: до нашей встречи и после».

Только «до» осталось в июне, а за все лето и начало осени мне так и не удалось разыскать тебя. Может, «после» и не случится. Легко писать по заказу, но трудно правду! Не успеваешь написать предложение — и оно тут же теряет смысл.

«Как мне найти тебя?»

В одиннадцать ночи позвонила Лера. Плакала. Сказала, что студента звали Гришей, он первокурсник и что наша общая знакомая, Надя из одиннадцатого «Б», с ним встречалась.

«От армии парня сберегли — и на тебе! Точно все живем на какой-то невидимой войне», — расстроилась мама.

«А если бы я побежала на другую сторону, несмотря на сломанный светофор?» — подумала, вспомнив, что сказал Джексон во сне. И внутри похолодело.

Неужели все знал, хотел предупредить об опасности?

Письмо Джексону я не написала, вернулась на Зареку.

Из-под капюшона куртки, замирая от страха и стыда, всматривалась в проем улицы, где он танцевал в июне. Главное — не быть узнанной. Мама внушила: женская гордость — единственная ценность, что у меня есть, не смей никому ни звонить, ни писать, ни даже улыбаться первой. До явления лунной походки Зарека была для меня заповедным краем, куда тянуло необъяснимо, и никто не мог меня поймать. Но как только незнакомые улицы обрели цель — его лицо, глаза, улыбку, я словно утратила право здесь находиться.

Сегодня улица пустовала. Я шагнула вперед, медленно, крадучись, чтобы в случае чего сразу улизнуть дворами на соседнюю. На втором перекрестке из его калитки вынырнула молодая цыганка в цветастом платке и с бидоном в руках. Мама или сестра? Глянула на меня с подозрением, так смотрят на чужаков. Я ускорила шаг. В конце улицы почти бежала, с трудом переводя дыхание. И вдруг дома по обеим сторонам кончились, улица оборвалась в поле. За полем — заброшенный дом. В таком вполне могла родиться и моя бабушка. Она любила окраины. И мне захотелось в нем побывать.

Обошла дом по кругу. Выглядел необитаемым. Но не все окна были заколочены. В одном мелькнула тень. А в заборе передо мной зияла дыра. Через нее и проникла во двор.

— У тебя глаза викинга. Ты, верно, смелая!

Подпрыгнула от испуга. Рядом со мной стоял старик, опираясь на палку. Невольно перевела взгляд на окно.

— Мы здесь вдвоем, — пояснил он, будто читая мысли.

Смотрел на меня в упор, часто моргая, и глаза на мгновение подергивались пленкой, как у голубей или ящериц. Мне стало не по себе, а старик продолжал говорить, не со мной, а куда-то в пустоту за моей спиной.

— Шестнадцать? Прекрасный возраст! Все пути открыты. Но скоро песочные часы тряхнут впервые, и время начнет ускользать сквозь пальцы — не остановишь.

Сумасшедший, подумала, надо бы валить отсюда. Но ноги не слушались.

Вдали раздался протяжный гудок.

— Молоко привезли, хочешь? — спросил он.

— Нет, спасибо, — отшатнулась в ужасе.

Он вылез через дыру наружу. Присела передохнуть на минутку у забора, а когда выбралась в поле, увидела только ветер. Ветер легко увидеть, если трава волнуется, как желтое море, а деревья кланяются, как швейцары пятизвездочных отелей или грешники на причастии. Не видела ни того, ни другого, ни третьего. Да и старика, как пишется, след простыл. Удивительная способность перемещаться в пространстве! Был — и нет его. Куда можно подеваться в открытом поле?

Дома принялась разглядывать себя в зеркале. Если и викинг, то вырождающийся. Цыпленок, если быть честной. Мини-юбки противопоказаны, только джинсы клеш. Монгольские скулы, явно не северные. Оттенок волос называют русым, я называю мышиным. Белая тонкая кожа, капилляры близко — краснею по поводу и без, пудры на маскировку тонну извела! А глаза — да, того самого цвета нашего моря-озера — синь серебра. Считается вторым по величине на европейском континенте. Но хочется быть первой и единственной. Хочется быть Геро... Может, и волосы выкрасить в синий цвет?

— Ужин готов! — позвала мама из кухни.

— Я не буду! — прокричала в ответ в открытую дверь.

И снова уставилась в зеркало. Но теперь мы там отражались вдвоем. У мамы тоже дар телепортироваться по дому. Скрестила руки на груди, пристально разглядывая меня.

— Никаких диет, некуда мне худеть, — успокоила ее.

— Тогда пошли есть.

— Сегодня лягу спать без ужина. Бабушка рассказывала, на голодный желудок цыгане снятся.

— Он не один, а со всем табором придет! — рассмеялась мама.

Догадалась.

— Больше не поеду на Зареку, — пообещала ей.

— Езди куда хочешь, но будь осторожна.

Инге бы так не ответили. Все-таки повезло мне с родителями. Сидели у нее однажды дома, пили чай на кухне, смеялись. А потом пришла ее мама... Инга вскочила со стула так, словно мы курили траву. Помню, отчитывала Ингу в коридоре, не понижая голоса, чтобы и я услышала: «Не приводи в дом барабашек! Крест в ухе, немисливо! Сама скатись!» А моя мама взвесила на ладони алюминиевый крест, и рассудила, что такой легкий ухо мне не оттянет, и разрешила носить. А Инге ничего не позволят, дышать не дают спокойно, за каждую тройку ругают. Марат ее несвободой воспользуется, возьмет «на слабо». Мне уже впаривал: рок — музыка твоих предков, «ты так несовременна рядом со мной», рейв слушай, винил носи... А я смотрю на афиши и не понимаю, что такого сделали все эти диджеи: чужую музыку перекроили?

Марат сообщил: убитый возле универа бизнесмен — хозяин бывшего ресторана на Озерном проспекте, который теперь Питер переоборудовал под новый ночной клуб, «Неосад» называется, моднее не будет в городе. Забрали помещение, не заплатив и трети, когда потребовал свое — пристрелили. Для столиц наш городок — чухонское окно в Европу, и на пересечении дорог сильных мира сего войны не прекращаются. Городок замер, ждет: кто победит, кому ж...у лизать и бабло отстегивать. Тихий северный край. Надо бы Ингу предупредить насчет Марата. По уши в криминале, готовит себе светлое будущее после школы. Повторяет за старшим братом: «Конец века — разграбление империи, великий беспредел. В обнулившемся мире будут новые законы, а пока будущее не предопределено, надо успеть набить карманы».

— Как же вы мне надоели оба, созерцатели застеколья! — вклинилась мама в мои размышления.

— Застеколья?

— Один в монитор компьютера смотрит, другая — в зеркало! А ужин стынет!

Да, быть дочерью ученого — привилегия. У нас даже видеоманитофона, как у всех обеспеченных семей, нет, а компьютер есть. «Отцу на работе выделили, не приближайся, ломаешь — не рассчитаемся!» Включаем тайком с друзьями, когда папа уезжает на свои конференции, чтобы посмотреть, как мелькают белые цифры на синем экране. Будто в космос летим, загружаем будущее. А будущее продается: фенечки из кожи и бисера для меня плетут за возможность взглянуть хоть одним глазком.

Пужинаю — придет мое «я» из будущего мучить меня вопросами о смысле жизни. Останусь голодной — есть шанс увидеть, как табор уходит в небо. А ты будешь танцевать на облаках, мять их босыми ногами, как виноград. Во сне на земле пойдет кровавый дождь, как в фильмах ужасов, и лишь я буду знать, что твоя кровь на самом деле вино.

Возле плиты стояла бутылка с характерным узким горлышком: темное стекло, красное вино. Хлебнула залпом, пока мама с папой суетились вокруг стола. «Боже! Это подсолнечное масло! Худшей гадости...»

— Радуйся, что не уксус, — упрекнул папа, пока промывала рот над раковиной.

— Неправильно мы с отцом тебя воспитываем, — вздохнула мама.

— Наоборот, правильно, — возразил папа, — растим свободного человека новой эпохи, а не узника Страны Советов. Без ошибок не обойтись.

Он математик и знает, сколько неправильных решений нужно перебрать, чтобы найти одно — правильное. Мама с ним не спорит. В нашей литературе вообще не принято отвечать на вопросы, только задавать.

Ответить придется читателю. Пишут же: утро вечера мудренее. А главное — оно всегда настает, сколько ни откладывая.

— Сейчас Жанна прочтет доклад о романе Евгения Замятина «Мы» и ответит на ваши вопросы, — объявила литераторша и посмотрела на меня по-кошачьи.

Я на секунду прикрыла глаза — глупая детская привычка прятаться: кажется, если ты никого не видишь, то и тебя не поймают.

— У нас с тобой уговор, — сказала она.

Кошки всегда получают желаемое, надо бы у них поучиться.

Снова это тошнотворное чувство беспомощности, как в кабинете у зубного: «Девочка, скажи „а-а-а“», деваться некуда, придется разинуть рот.

Уговор заключался в следующем: она покрывает мои прогулы, а я готовлю доклады по внеклассному чтению. Наша школа объявила себя лицеем, и меня чуть не отчислили после девятого класса, когда всех, кто портил общую картину успеваемости, в том числе по поведению, разгоняли по просто школам и ПТУ. Литераторша с историчкой убедили всех, что у меня способности к гуманитарным наукам, размахивая перед носом директора моей медалью за сочинение о «Преступлении и наказании» Достоевского для городской олимпиады. Медаль была одна, их всего двое, а проступков и замечаний в моем дневнике — уйма, но гуманитарии все-таки обладают даром убеждать. Их послушали. Мне дали зеленый свет в старшие классы и университетское будущее.

Алиска поступила в кораблестроительное училище. Но уже ко второму курсу выяснилось, что никакие корабли они там не строят, а без присмотра балду гоняют по коридорам. Второй год балдеет без чужой указки!

— Старый парк аттракционов скоро закроют. Может, на зиму, а может, навсегда, — сообщила мне по секрету. — Надо успеть!

Я вспомнила свое последнее первое сентября. Выпускной лицейский — до невозможности пустой класс! Надписи и рисунки на партах закрасили, под ногами не доски, а новенький линолеум, а главное — лица в окружении гладиолусов! Никогда не любила их: ничем не пахнут и ассоциируются с концом лета и свободы. С концом всему. Сидели за партами: «ровная осанка — правильный статус». Сами как гладиолусы: прилизанные, отглаженные, точно свободную форму объявили для меня одной. Оглядела класс: единственные из выживших близких — Марат, Коста, Инга. Остальных еще год назад слили и долили чужаками из других классов.

Марат прическу соорудил под «Depeche Mode». Ангел изменчивой моды. В детском саду воспитатели называли его «амурчиком» за «нежные щечки», еще тогда мерещилось в нем что-то подленькое, лживое, как в любом идеале. Срифмовала амур с лемуrom. Смотрит не мигая, и никто не знает, что у него на уме. Лапкой хватать — и полмира в руинах. А после того, как в первом классе попросил прыгнуть на незапечатанную крышку колодца во дворе — чуть не перевернулась! — уже не сомневалась, кто он на самом деле. На Косту, прямо у нас за столом, опрокинул вскипевший чайник — как бы невзначай. Коста теперь красавчик, крутой барабанщик рок-группы, но мама однажды грустно сказала, что жениться он вряд ли сможет и девчонки за ним бегают зря.

Инга... Что о ней рассказывать? У нее даже комнаты своей нет, живет при младшей сестре как нянька. Иногда думается: друзей, как и родителей, не выбирают. Как сидели с Маратом на одном горшке в детском садике, так и сейчас недалеко друг от друга переместились: за одну парту и на ступеньки общей лестничной площадки.

Лера с Алиской тоже сидели за одной партой, и меня тогда в их жизни не существовало. Писали на стенах и скамейках: «ЛЕРА + АЛИСА». Но потом Лера уехала в летний лагерь к морю, а мы с Алиской море рисовали разноцветными мелками на асфальте во дворе. Осенью в школе Алиска познакомила меня с Лерой, и я ей сразу понравилась тем, что выгодно оттеняла их дуэт блондинки и брюнетки своей мышастостью. В шестом классе Алиска подхватила гепатит, пропустила много занятий, и ее переместили в мой класс, на второй год. После мы еще долго называли себя тремя мушкетерами. А сейчас я жду Леру возле универа на Озерном проспекте, Алиску воз-

ле ПТУ на набережной. И пути их не пересекаются. Лера нацепила тонкие очки в золоченной оправе, стянула белокурые волосы в хвост и изо всех сил старается походить на юриста, считает, правильная внешность поможет сдать все экзамены и получить диплом. А подруга-пэтэушница портит ей имидж. Странно, что и мама с недавнего времени частенько ставит мне ее в пример. Не Алиску, конечно, — Леру. Однажды вообразила себя юристом — и расхохоталась: более злостного нарушителя правил не найти. Хотя... говорят же: «Закон что дышло». Можно было бы стать адвокатом, искать дыры, как в заборах, и спасать бунтарей вроде меня.

А пока мы с Алиской действовали по плану: несколько капель йода на кусочке сахара, ломтик лукавицы, выжатый в глаза, — и вот оно, заветное официальное освобождение по причине ОРЗ.

Раздолбали все гоночные машинки, два раза прокатились на «Чертовом колесе», выпили в кафешке на летней веранде шампанского. А потом лежали на зеленой пока траве и смотрели в небо. Высокое и прозрачное, с легкими перьями облаков. Ощутила, что пью эту синь глазами, почудилось, что лечу. Или падаю? В бездонную пропасть небес, как Холден Колфилд. Самые волшебные дни осени! Если бы на третий во дворе не встретили мою классную...

И вот сейчас выставили перед гладиолусами. И надо бы как-то начать о перегибах тоталитарного режима, где все были равны, даже по половому признаку, и о наших замечательных постперестроечных временах, где каждый уникален и волен выбирать себе судьбу и дорогу. Ерунда! Все они одинаковые! Модные. Все как все. Шмотками обмениваются. Ни за что не надела бы чужое платье!

Ощущение тяжести в желудке, а в голове все крутится вопрос: «Зачем I-330 понадобилось взрывать Зеленую стену? Почему самим не сбежать? Бросили бы зомби на произвол судьбы и через Древний дом — на волю. Нет, пожертвовали собой ради тех, кто ничего не знал и не просил даже».

Пригрезился старик-отшельник с глазами ящерицы из заброшенного дома на краю поля. Считается, ящерицы — прямые родственники доисторических драконов или динозавров. А вдруг он колдун и открыл третий путь? Если вспомнить, с какой скоростью перемещался в пространстве...

— Девочка плохо социализируется, — говорили обо мне сначала в детском саду, а потом и в школе. — Никакой солидарности с окружающими. Если дело так и дальше пойдет, то встанет вопрос о способности сопереживать. Об отсутствии человеческого сочувствия, об аутизме, алекситимии.

Мама с папой не верили. Я тоже, но мне приходилось изображать эту самую солидарность. С детства ненавидела командные игры: несколько придурков рвут друг у друга мяч. То ли дело бег: обогнал всех — прибежал первым, если никто подножку не подставит на старте. Коллективные медосмотры приводили в ужас. Всякий раз говорят: «Раздевайтесь!» — и такая безысходность накатывает! Хочется уйти внутрь себя, нырнуть с головой в свитер, как в колодец, или хотя бы закутаться в плед. Чтобы никто не сравнивал меня с другими.

Стою перед классом, дура душой, и рта не могу раскрыть. «Девочка, разденься и скажи „а-а-а“, а мы будем оценивать, насколько правильно ты это делаешь. Иногда говорить то, чего ждут, — как пытаться проглотить склизкую молочную пленку. А сказать то, что не можешь не сказать, — значит раздеться на площади перед всеми. Чувство незащищенности, словно будут бить за каждое слово, которое для тебя хлеб, а для них — оскорбление. Как легко писать сочинения, как тягостно говорить вслух! Сюжет пересказать?»

В детском саду нас кормили жидкой молочной кашей, на поверхности вечно плавали сгустки топленого масла. Выворачивало наизнанку от одного вида, как ни пыта-

лась, не могла впихнуть в себя ни ложки. С голодухи начала таскать хлеб и ела в тихий час под одеялом. Нянечки обнаружили крошки. Выстроили всех у разобранных кроватей.

«Подойдите каждый к своей. Чей номер двадцать два?»

Отступать было некуда. Выставили в трусах в старшую группу. Худшее наказание — унижение, потому что боль проходит, а страх и стыд — нет.

В тот год я сбежала. В марте. Пока все спали, пролезла меж прутьев ограждения на детской площадке. Не такая уж и маленькая была, раз сама смогла натянуть рейтузы и зашнуровать ботинки в раздевалке. А поймали потому, что не знала, что делать дальше, за забором, и куда идти. Главный парадокс взросления: чтобы знать, как поступить, нужно быть человеческой личностью, а не личинкой человека, но личность формируют поступки.

Помню, среди облаков в весеннем небе летел вертолет, как многокрылый птеродактиль, и лопасти пропеллера рассекали облака. Прохожие задирали головы и тор мозили на мгновение, словно само время замедлило их бег по делам.

Ночью спросила у себя-будущей:

— Почему они все-таки не сбежали?

— Некуда бежать. Любые время и пространство вместе образуют территорию, всякая территория населена и принадлежит тому или иному обществу. А общество, где мы вынуждены пребывать, незаметно меняет каждого под себя. Слово «успех» значит за всеми успевать, шагать в ногу. Дело не в общественном строе, а в том, что нужно строиться и подстраиваться. Не хочешь сопричастности, живи одна в поле, за пределами мира, как старик-ящерица.

У меня впереди два доклада: «Дивный новый мир» Хаксли и «1984» Оруэлла. Три дня — три доклада. Как специально выбирали, чтобы выведать и спалить сокровенное. Ни к черту мне не сдался их бунт! Одному ампутировали душу, второй повесился, третий признал правоту партии. Против незыблемой системы — как комары о стекло, бессмысленное геройство. Утопия это, а не антиутопия. Нужно действовать как-то иначе, но как? Рискну предположить, что все написанные в мире книги утверждают лишь два пути: либо бунт, либо повиновение; либо жертва, либо палач; либо раб, либо хозяин; либо герой, либо изгой; либо принимаешь правила игры, либо выходишь. Но неужели нельзя проскользнуть между мирами, нащупать свою тропинку по краешку?

Она приходит оттуда, где людей много, значит, побег не удался. В моей жизни времена года меняются: после лета наступает осень, потом зима и весна. А она возвращается из бесконечного лета, где цветут каштаны, кружится тополиный пух и пахнет свежескошенной травой. Где и как она живет, то есть я буду?

— Если я — это ты в юности, то должна помнить, что снилась мне. Я не могу вспомнить твоего лица, но помню сам факт, что говорила с тобой. А ты помнишь меня? Или это я тебе снюсь? — спросила ее и опять проснулась без ответа.

Джанет, в нашем веке

Джанет проснулась раньше трех будильников, которые заводила только накануне отъездов, чтобы не проспять самолет. Ветер сводил с ума. Джанет узнавала осень по голосу: навязчивое шуршание, бесконечное «ш-ш-ш-ш-ш» за окнами. Шелудивая осень, все время чешется, и невозможно усидеть на месте. Небесным дворником безжалостно вычищает двор ее памяти, выметая хлам родной оседлости и срывая покровы времени, накипевшие за лето.

Лето было русскоязычным: Москва, Санкт-Петербург, Минск, Рига... А зимой легче прожить и прокормиться на Средиземноморье, чем в космическом олимпийском Сочи или нищем и алчущем денег Крыму.

«Очутиться бы сейчас вдвоем в Венеции и ловить отражения света в воде каналов или на дне твоих темных глаз... Интересно, а где собираешься провести зиму ты: Тель-Авив, Стамбул, Марокко, Тайланд, Гоа? Пришли хотя бы открытку».

Ей представилось, как в прошлом веке путешественники внимательно разглядывают «вертушки» с разноцветными картинками, выбирают одну или несколько, а потом подписывают адресатам, сидя в уютном кафе на краю мира и глядя на дождь из окна. Открытки, хранящие тепло руки.

Джанет получала mms-ки с картинками без подписи или сообщения в мессенджер со смайликами. Перелетные птицы изобрели язык нового поколения задолго до повальной моды на Twitter. Ни один из ее друзей, знакомых или любовников не владел родным языком, да и никаким вообще: писали с ошибками и сокращениями русским на латинице, разбавляя фразу сразу всеми известными словами из языков стран, где побывали когда-то: английский, немецкий, французский, испанский, в живой речи дополняя эмоциональными жестами, в электронных сообщениях — смайликами всех пород и мастей. Чтобы нестись по жизни без оглядки, этого вполне хватало, а нырять на глубину мыслей и чувств никто не решался: к чему застревать в памяти, если прошлого не существует? Время — вода, и мы снуем по зеркальной его поверхности, как водомерки, — неуловимо и бестолково.

Ответственные работяги сновали под землей. Платформы поездов забиты до отказа, в переходах между станциями метро — пробки из человеческих тел. Наверное, красные отрезки на картах колец московских дорог и подземных линий совпадают. Сентябрь — час пик осени. Везде десять баллов. И лучше толкаться в метро, потому что на такси успеть в аэропорт безнадежно.

На платформе кто-то сзади хрипло дышал почти в ухо, кто-то рядом медленно оседал на пол, сползая спиной по колонне. Джанет не рискнула встать на краю. С тяжелым рюкзаком за плечами в толчее не удержать равновесие. Меньше всего сейчас ей хотелось упасть под колеса поезда.

Вспомнилось, как в Токио пассажиров в вагоны заталкивали чуть ли не пинками под зад. Поезда стоят у платформы несколько секунд, а двери не резиновые. Есть там специальная должность в метро: утрамбовывать вагоны, чтобы все успевали по утрам на работу.

«Зачем тебе жизнь, на которую нужно зарабатывать? Имей доступ к источнику со всем необходимым», — писали на птичьем языке. Да, только потом этот «источник» начнет диктовать, что делать, куда идти, с кем спать и как жить. Лучше уж самой. Впрочем, некоторые птицы фрилансили, как и она, но большинство тянули награбленное из девяностых.

С третьей попытки Джанет влезла в вагон, облегченно сгрузив у ног рюкзак и прилонив к нему ноутбук. На сиденье заметила полицейского — чересчур красивого для своей униформы. Набрасывал портреты пассажиров в блокноте, поймал ее взгляд и улыбкой предложил сесть. А сам начал протискиваться к выходу. Смена — двенадцать часов патрулировать улицы под морозящим ледяным дождем. А мечтает писать картины в художественной мастерской, полной солнечного света и воздуха.

В тоннеле... токийская электричка... включает прожектор.
Я тоже, уезжая осенним днем в темный, полный обмана город,
должен включить в своем сердце яркий-яркий фонарик...³ —

вспыхнули в мыслях чьи-то стихи.

³ Дзюн Таками. Избранная лирика.

Дорога для Джанет была личным средством борьбы со временем. Новые впечатления — долгие дни. Время зависит от восприятия, а значит, способно растягиваться в пространстве: год, насыщенный событиями, считался за десять. Жизнь ощущалась бесконечной, как в детстве, и Джанет верила, что в этом и заключено бессмертие, а не в том, чтобы сохранить себя в книге или размножить в детях, как учили когда-то в школе и в институте, брошенном на втором курсе.

Среднестатистический человек не более чем сумма прочитанных книг. Писатель же может переписать реальность, присвоив себе любое имя и любую судьбу, и в веках останется прав. Как и Джанет. Но писатели пишут романы для многочисленных потомков, а она сочиняет жизнь для себя одной.

«Жить для себя — эгоизм», — твердила мама.

«Внутренние перипетии — признак настоящего романа. Если герой не меняется, зачем тогда описывать события его жизни?» — главный вопрос преподавателей филфака.

Но на самом деле нет никакого «зачем», а прав тот, кто счастлив. Даже несчастливый по жизни человек может быть счастлив в данную минуту, а из «данных минут» и состоит жизнь.

И все же язык — отправная точка во времени и пространстве. Родной язык определяет все: мысли, чувства, действия, мироощущение, сознание, бытие. Мимолетно вспомнилась строчка из интервью с лингвистом в документальном фильме Вернера Херцага «Встречи на краю света»: «Ежегодно на планете умирают сотни этнических групп. С последним носителем языка уходит целый мир...» Что будет с ее родным, русским, если уже сейчас соцсети изменили его до невнятных аббревиатур? И как тогда говорить? Английский эсперанто истерт до дыр, итальянский еще в самолете зазвучал браваурной музыкой, и только русский шипел в мыслях, как грешник на сковороде. Может, поэтому отношения с перелетными мальчиками у Джанет и не складывались: поколение бесконечности не наделено от природы долговременной памятью и, значит, не способно понять ее чувство вины.

Сорренто встретил объявлением на автобусной остановке: «Школа международных языков: китайский и английский для детей от пяти лет».

«Мы живем в Китае, они заштамповали собой всю землю, теперь наш мир — китайская подделка», — ужаснулась Джанет. А навстречу маршировал отряд узкоглазых туристов, вооруженных селфи-палками.

«А почему бы и мне не взять с них пример? — решила она, разглядывая копии китайских воинов, — какая мне разница, где ты и что с тобой, если я могу воссоздать тебя в каждом встречном? А уж на смуглом неаполитанском юге, где у всех твои глаза...»

Не успела спросить у вчерашнего солнечного сожителя, знает ли он свои корни, происхождение. Неужели неинтересно, чья кровь течет по твоим венам, чей язык ты забыл? Впрочем, о корнях он вспоминал в единственном случае, когда звонил домой с просьбой: «Киньте денег на карту, кончились». А предки, вздыхая в ответ: «Плохи родители, если не содержат ребенка до пенсии», — перечисляли требуемую сумму тоже откуда-то из заповедья. Бедлам после него в московской квартире убирать не пришлось — Джанет самой пора было собираться в дорогу. Осень подстегивала к переменам мест.

Окна апартаментов в Сорренто распахнулись в стену. Стена зеленая, увитая плющом. Живая, скребется, копошится: ящерики, мелкие грызуны, птички.

«Wi-Fi мощный, наводнений не случается: высота над уровнем моря — сто метров», — успокоили ее на ресепшен по поводу дешевого андеграунда.

Ну да, где еще жить любительнице рока на мели.

Пока на мели. Деньги не подушка безопасности, а энергетические потоки. Невозможно накопить на безбедную жизнь, ищи неиссякаемые источники дохода. Но те-

чение их переменчиво. Поиск заказов не стрельба по тарелочкам, а охота. Вспомнился анекдот о фрилансе: «Вытащить копьё дорого, покрасим в телесный цвет». Только перед тем, как вытаскивать копьё или красить, нужно его загнать в заказчика, потому как без твоего копья он прекрасно жил и ни в чем не нуждался.

Справимся, повторяла себе. У фрилансера ночи белые.

Над окном кто-то непрестанно ухал: и ночью, и днем. Ушастые русскосеверные совы прилетают в Италию на зимовку, как и Джанет. Ее никогда не спящая сова, похоже, тоже жила в безвременье.

А время между тем текло за горизонт, необъятный взгляду с террасы над морем. На перилах позировали редким туристам и заговаривали Везувий, как пернатые шаманы, гордые буревестники Горького. Извержений не ожидается, продолжайте наслаждаться жизнью.

Сам Везувий одарил браслетом из лавы и кораллов: слились в нем горы и море. Джанет привозила из всех мест, отмеченных на ее карте, талисманы на удачу.

На этот раз не сработало. Деньги таяли, телефон онемел, волны электронной почты выносили на берег спам и мусор бессмысленных сообщений прошлого.

«Перезимовать хватит, а дальше?» — тоскливо спросила себя, выгребая в банковской карточке последнюю пачку сотенных неподалеку от площади Vallone de Moline.

Название площади переводится как «Долина мельниц». И Джанет взялась пересоздать ее заново — на своем языке. На скандинавском севере, откуда она родом, существует легенда о мельнице Сампо, намоловшей всем изобилия и счастья. А «сампо» по-итальянски означает площадь.

Долина мельниц раньше вела к морю, в современном Сорренто она разделена площадью и мостами, и в нее уже не спуститься.

«Мельница-мельница, намели и мне!» — попросила, бросая мелочь в пропасть под мостом.

На пересечении мостов располагался роскошный старинный ресторан, тщившийся сохранить облик и историю со времен черно-белых открыток.

...And my telephone number! — выхватил открытку из счета официант, чтобы подписать.

Он был молод, нагл, черен как смоль и похож на далекий образ, который Джанет искала на дне бокалов, куда разливала их всех, тщательно перемешивая, — дистиллированное и уже ничье вино.

После ночи любви ее разбудил ветер, гулявший по комнате. На сквозняке хлопала не только рама окна, но и дверца сейфа.

Черноглазый жрец Долины мельниц! Боги забрали все. Оставив две зеленые двадцатки и мелочь в кармане куртки на библейские обеды: вода из-под крана и свежий хлеб из супермаркета. Постись, грешница. Забавная ситуация: обокрасть великого машинатора. Жрец не смог преодолеть искушения или был послан ей свыше в наказание за других обманутых вкладчиков? Но с заказчиками проектов Джанет была честна, а кого они кидали на деньги — не ее ответственность.

Бог любит троицу: ошиблась она трижды. Первый раз, когда суеверно сняла все деньги с карты, в надежде, что пустота заполнится новыми поступлениями от заказов. Второй — когда поленилась вернуться в апартаменты, чтобы убрать их в сейф. И третий — когда открыла сейф при нем, созерцающем телевизор: не одна Джанет, как выяснилось, была потомком Януса. И кто-то из них смотрел в прошлое в метафорическом смысле, а кто-то в прямом — имел глаза на затылке. Или, может, все произошло с точностью до наоборот: вернулась, убрала деньги в сейф, в этот момент позвонила горничная, узнать, все ли в порядке, Джанет отвлеклась, по возвращении вдвоем обнаружила дверцу открытой, захлопнула у него на глазах, не задумавшись, что элек-

тронное табло сейфа на мгновение высвечивает цифры кода запирающему владельцу, и что фотографическая память свойственна не ей одной. Не все ли равно, если Янус прав и прошлого не изменить, сколько ни оглядывайся, а события жизни память переписывает, как автор бестселлеров? Толку от пристального пересмотра отснятых кадров в попытке их как-то обозначить на карте жизни, дать имена?

Открывая новые пространства и меняя сторону света, Джанет вдруг сознавала, скольких имен не знает. Как на самом деле зовут сову над окном? А вон то дерево, пиния или ливанский кедр? Каждая страна ассоциировалась с деревьями или цветами. Греция — с олеандрами, Сицилия — с гибискусами, Мальта и Тунис — с оливковыми деревьями. Названия, которые она увидела там впервые. Неаполитанский юг стал апельсиновым адом. К концу ноября апельсины гирляндами висели над головой, падали под ноги, подавались на завтрак, обед и ужин в окно за неимением лучшего, за неимением ничего. Что такое голод, она теперь узнала не из книг. Возвращаться в ресторан — бесполезно. С полугодовым жалованьем в кармане жрец уволился и сбежал в Неаполь.

— Возвращайся домой! — уговаривала мама по телефону. — Мы купим тебе электронные билеты на самолет и на поезд из Москвы, пришлем по e-mail, при условии, что зиму ты проведешь у нас. Ты так давно не была дома! Значит, время пришло. Перезимуешь, заработаешь — улетишь опять.

Резкий холодный ветер сорвал шаль с плеч. И она, взмахнув черными кистями, как обломанными крыльями, полетела неуклюжей траурной птицей над морем. Туда, куда не направилась бы ни одна перелетная, — на север.

Итак, зиму Джанет проведет в заброшенном городке своего детства, где в ответ на вопрос «Как дела?» жители нетрезво машут руками: «Что здесь делать? Север...»

Из дневника Жанки, на грани столетий

Почему зима и лето воспринимаются константами, а весна и осень — как промежуточные времена, которые нужно пережить, переждать?

Хеллоуин — ночь перехода в зиму. Мы все к ней готовились. В ночь на Хеллоуин отрывался питерский «Неосад». Премьера стала событием для нашего городка. В секонд-хенды, приторговывавшие таможенным контрафактом, очереди занимали с утра за виниловыми куртками и кислотных оттенков майками и топами, светящимися в темноте. Контрамарки для «малолеток» стоили дороже входных билетов. Вряд ли бы мы с Алиской достали их сами, но вдруг расщедрился Марат. Сказал: «Потом попрошу тебя об одном одолжении», но не сказал каком.

Я не смогла устоять. И не зря.

Теперь все только и говорят о космических лучах, пронзающих танцоров насквозь, витиеватых конструкциях танцполов в виде гигантских ступеней лестницы в поднебесье потолка, невидимого снизу, пещерах и подводных гротах чилаутов, дымящихся коктейлях всех цветов и вкусов с непроизносимыми названиями — их следует выучить наизусть: в меню пляются только отсталые слои населения. И какой-то неведомой дури, отправляющей всех желающих в полет до утра сквозь стены и времена. Сад наслаждений Иеронима Босха.

Джексон танцевал внизу, у первой ступеньки сцены. Лазерные лучи скользили у него за плечами. Я глядявалась в силуэт, выхватываемый вспышками из темноты, точно зная, что это он. Джексон танцевал один, обнимая пустоту. И пустота должна была заполниться. Мной.

Я бросила Алиску с каким-то студентом и уже почти протиснулась к нему сквозь толпу танцующих, как за спиной прогремел взрыв. Обернулась — и глаза залило болью, а вдох застрял в горле, как кусок наждачной бумаги.

В центре зала взорвали баллон со слезоточивым газом. Война за главный дом на перекрестке дорог еще не окончена — нашлись мстители за обворованного и убитого бизнесмена, как сказал позже Марат.

Дальше в голове все перемешалось. Крики, толчея... Помню, как очутились с Джексоном в туалете. Вытащил из зала на руках? Ослепнув, я вряд ли сама нашла бы выход.

Ледяная вода из-под крана — будто отслаивает режущую слюду с глаз, но разлечь их все равно невозможно. Он вытирает мне лицо платком, кожа онемела, и я не чувствую его движений, кроме... странного невесомого прикосновения тепла, как крылом птицы по кромке ресниц. «*Ощутить трепет твоих век на губах*», — не к месту вспомнились слова дурацкой записки для Марата.

Глаза открыл свежий воздух. Морозное дыхание ночи за стенами клуба. Город стал чище, или — нет: переродился за это время, был стерт и заново нарисован неизвестным художником. Импрессионистом. Расплывчатые очертания в свете фонарей, в хрустальной подрагивающей дымке огней — сквозь слезы.

Мы как будто стояли на пороге исландской саги. Джексон взял меня за руку, и внутри взорвался гейзер жаркого счастья. У меня в ту ночь постоянно что-то взрывалось... Я даже не помню, о чем мы разговаривали, шагая вниз по Озерному проспекту к набережной. Собираю и записываю осколки слов, а так хотелось бы снять непрерывный кинофильм в голове, чтобы крутить его потом вечно!

— Тебе понравилось в клубе?

— Не очень. Все какое-то ненастоящее: музыка, свет. Я знала, что так будет, но хотелось самой посмотреть.

— Зачем?

— Потому что все туда рвутся. Нужно все пробовать, чтобы знать. Важно знать то, что знают другие.

— Тяжело за всеми угнаться. Легче всего быть первым там, где никого нет.

— На Зареке?

— Тебя там видели. А я бродил взад-вперед по Озерному проспекту и набережной, чтобы случайно встретиться, а сегодня пришел в клуб. Мне сказали, ты там будешь.

В клубе встретила всех, даже мрачного Марата без Инги, но в ту ночь мне было не до запасных вариантов, я играла главную роль, а точнее, не играла — жила.

— С синими волосами ты похожа на Снежную Королеву. За тобой должен прийти снег.

В последние дни была слякоть и предзимняя тьма. Первый снег позднего сентября исчез, растворился в грязи улиц. Но вернулся в ту ночь! Густыми хлопьями. Кружился в конусах света от фонарей, как обезумевшая стая бабочек-альбиносов. У меня получилось!

— Веришь в сказки?

— Я понимаю их лучше, чем обычную жизнь. В жизни нет логики, а в сказках...

— ...концентрированная мудрость земли, как говорила моя бабушка.

И мы шли и шли куда-то под снегом в эту необычную ночь, как герои сказки, легенды, мифа, саги... Не читали, подчиняясь чьим-то писанным законам, как всегда бывает, когда в жизни плывешь по течению, а писали свою историю сами. Слова рождались на ходу из шагов, прикосновений, взглядов...

«*Любовь есть мечта, порожденная взглядом*»⁴, — вспомнилась книжная строчка о героях Шекспира.

В ночь на Хеллоуин я поверила, что мечты сбываются. Как будто совершила открытие. Наверное, все влюбленные ощущают себя героями мифов и верят в то, что они-то как раз и есть первые люди на земле.

⁴ «Музыка у Шекспира». Уистен Хью Оден.

Все время думала о Геро: как зажечь негасимый свет в окне для Джексона? И чтобы лампочка счастья никогда не перегорала. Купила светильник в магазине подарков в виде домика из цельного куска мрамора. Тяжелый, зато прочный и не разобьется. Свет от маленькой лампочки — желтый, теплый, живой. Поставила на подоконник. Сделала перестановку в комнате — подтащила диван к окну. И теперь свет льется в обе стороны: за окно и на меня. А я закидываю голову на подушке и смотрю, как в луче из окон домика кружится снег.

— Зима же, замерзнешь, — повторяет мама, гася в моей комнате свет на ночь. Но светильник не выключает, и, кажется, с ним в моей комнате стало теплее.

Ночами снится повторяющийся сон. Фантазмагория в театре теней. Посреди темного леса поляна, ярко освещенная, будто сцена театра. Откуда льется свет — непонятно, как изнутри, от волшебного фонаря. Героев не видно, они — тени на белом полотне, растянутом вместо декораций на сцене. Но я знаю, что актеров всего двое: мужчина и женщина, и играют они разные роли из разных мифов. Теням позволено перевоплощаться в кого угодно. Джексон в моем сне — осветитель за сценой, но никогда не рассказывает о фонаре. Может, это символ горящего сердца Данко?

В пьесе, то есть во сне, за сценой сквозь шелест леса слышатся шепоты о тайне света и тьмы, о том, что они вечно меняются местами... Просыпаясь, записываю и читаю книжку по мифологии и истории праздника Хеллоуин. О заблудших душах, утративших ориентиры в пространстве и времени. Темнота улиц в ту ночь была освещена белым, чистым снегом, и когда я вспоминаю, как две наши тени на снегу сливались в одну, снова ощущаю толчки гейзерного счастья. Неоновый свет клуба, когда взорвали газовый баллон, обернулся слепотой и болью. Если бы не Джексон... Интересно, почувствовал он себя Орфеем, спасающим Эвридику? Он же сказал, что верит в сказки. Надо спросить, героем какой сказки представлял себя в детстве.

А самая страшная тень в моем сне, конечно, Марат. Ничего хорошего от него не ждешь. Но за то, что помог нам встретиться, можно пожертвовать многим. Знать бы чем? Что он попросит?

«Чтобы зажечь негасимый свет, нужно осознать тьму», — пишут в книгах.

Вечер, метель за окнами. Папа стучит по клавишам компьютера в гостиной. Щелкает выключателем.

— Дочь, я вообще-то работаю, — говорит папа, снимая очки в сумерках.

— Я хочу увидеть абсолютную тьму.

— Представь себе межгалактический космос...

— Не хочу воображать — хочу ощутить. И не где-то когда-то, а здесь и сейчас.

— Ммм, — забывает о монографии. Ему всегда было интереснее применять научные знания на практике.

За полчаса закупориваем нашу маленькую квартирку в капсулу. Завешиваем окна плотными шторами, как в войну, чтобы не проник ни один лучик света.

— Ты видишь очертания мебели?

— Да.

— Плохо. Нужен черный вакуум.

Мама вернулась с работы, как в голливудский кинофильм, где главный герой решает покончить с собой и открывает газ. Долго и мучительно ждет, пока комната наполнится ядовитыми испарениями, но вдруг вспоминает, что смертнику положена последняя сигарета. Прикуривает — и забирает с собой на небеса весь квартал близлежащих домов.

— Идиоты! У нас электрическая плита! — только и сказала мама, когда зажгла свет в кухне и увидела два наших зада, торчащие из духовки.

— А мы ее и не включали.

Космос в духовке... Смешно, но хочется записывать любую мелочь. После той ночи все вокруг обрело тайный смысл, стало важным, значительным. Каждое мгновение как будто залито ярким светом. Нельзя упустить, не записать, не запомнить. Боюсь утратить свои дни и часы. Может быть, потому, что все они освещены ожиданием новой встречи?

Евгений Романов, в нашем веке

Иногда нужно уметь ждать. Неизвестно чего, но ждать.

Поздняя осень. Ветер обнажил деревья, и больше не осталось преград. Напал со всех сторон, как непредсказуемый враг. Город напоминал гигантскую турбину самолета. Свистело в ушах и в подворотнях. Негде укрыться.

В небе над кладбищем с ветром боролась запоздалая стая перелетных птиц. Не успели они выстроиться в клин, как тут же были разбросаны среди туч как попало. Птицы боролись молча. Улетали не прощаясь. И свистящая тишина угнетала.

Евгений поднял воротник, втянул руки в рукава пальто и решил посидеть с Братом еще немного.

Брат появился в его жизни неожиданно — и сразу стал ее частью. Так воплощается судьба: негаданное оборачивается предрешенным. Сам он не смог бы предать память Акелы. Но в один из таких же ветреных и темных дней распахнулась дверь клиники, и высокий мужчина посторонился, пропуская и подталкивая вперед собаку. Терьер когда-то был черным, а теперь седым. Стоял на пороге старости и — новой жизни. Десять лет — это уже не просто домашний питомец, а член семьи, брат.

— Предаете Брата? А как же заботиться о тех, кого приручили?

— Это о людях сказано.

— Скорее для людей.

— Мне в Питере должность предлагают, перспективная работа, но сложная, и от меня потребуются все силы, понимаете? На возню со старой больной собакой точно не хватит.

Впрочем, он позаботился. Принес любимое одеяльце пса, чтобы родной запах не дал подохнуть от тоски в первые дни. А дальше...

— Пристроите куда-нибудь на доживание. Или усыпите.

Брата хотела забрать в дом медсестра Мила. «Милая Мила», — называл ее про себя Романов. Добрейшая женщина. Но у нее — трое детей в возрасте от пяти до восьми лет, замордуют животное. И Романов взял Брата себе. Доживание, подумал он, страшное слово, Акела простит.

С недавних пор ловил себя на тревожном интересе к старым больным животным. И к людям. Вечерами наблюдал одну и ту же картинку: дед из соседнего дома выволакивал на прогулку такого же древнего дога. Дог за один присест выливал ведро мочи под яблоню у крыльца и, тяжело вздохнув, садился рядом с дедом. Дед на скамейке, дог на земле, а головы почти соприкасались, как у тех, из сказки, что жили счастливо и умерли в один день. И смотрели они всегда в одну точку, куда-то за излом улицы, словно там, на неведомом экране, демонстрировали с допотопного проектора слайды рая. Смотрели, не отрываясь, с тоской по возвращению... Куда? В материнскую утробу? В детство? В небытие? В начало начал?

«А ведь мне даже не сорок», — отворачивался от них Евгений.

Дома ждал Брат. Первые дни выгуливал его по утрам, кормил и оставлял в доме до вечера. Но потом соседи пожаловались, что воеет, и Романов начал брать его с собой на службу. Тем более что Брат, в силу возраста, к кошкам и другим собакам был равнодушен, никаких потасовок и грызни за территорию кабинета не устраивал. И они стали неразлучны.

Поначалу Брат верил, что Евгений — попутчик, из тех, кого встречаешь в зале ожидания аэропорта или вокзала. Но хозяин уехал навсегда. Евгений пропустил момент, когда Брат это понял. Их дружба крепла день ото дня, и вряд ли он назвал бы точную дату, когда впервые сказал медсестрам: «Моя собака не любит, если кто-то стоит за спиной или подталкивает вперед».

Романов смотрел в него, как в зеркало: черная шерсть серебрится, глаза вспыхивают угольками, когда чешешь за ухом. «Радуйся, что есть кому почесать, меня вот никто не приласкает», — говорил ему.

«Бещасть», — проклял его перед смертью отец.

«Одиночество старит, Жен», — писала мама, закрашивая свою седину.

Сестры помалкивали, гадали другим.

А у Брата обнаружилась сердечная недостаточность. Собачьи сердца лечат и человеческими таблетками. Выписывая рецепты владельцам собак, Романов не задумывался о стоимости лекарств, только о свойствах. Когда начал отовариваться в городских аптеках, поразился цене в две тысячи сто шесть рублей. «А как же пенсионеры? — спрашивал себя. — Если пенсия восемь тысяч, а таблетки — две? В нашей стране все доживают». У самого болели чеченские шрамы от осколочных ранений: на плече и бедре. Осень обостряла боль. Непогода и резкие скачки давления, кожа и мышцы человека растягиваются, рубцовая ткань — нет, внутреннее давление вызывает ноющую непрерывную боль. По осени даже прихрамывал. Целебные мази предков не помогали, пил анальгетики.

Жалел себя? Нет, скорее гордился, что нашел. В армии бьют не за то, что цыган, а за то, что слаб. Дай отпор — и заслужишь уважение. Ранение получил, спасая командира взвода. Остался еще на два года по контракту после срока. Хотел учиться, выбрать профессию, на жизнь во время учебы нужны были деньги.

«По столичным меркам доходов я — ничтожество, но на самом деле царь зверей. Продлеваю жизнь тем, кто нам беззаветно предан, кто любит нас так, как никто никогда не любил — безусловно», — рассуждал Романов.

Когда-то, выбрав Жанку, он шагнул, как сейчас принято говорить, за пределы этнической группы. А назад не возвращаются. Он выделялся среди прочих несеверной красотой, и белые женщины любили его. Но не воспринимали всерьез. Последняя ушла к владельцу сети пивных ларьков под гордым названием «Снежный барс». И одиночество стало сквозящим, как продуваемое всеми ветрами поле его детства.

После смерти Брата осиротел. В силу практики на руках у него умирали живые существа, но не брат, которого у Романова никогда не было, у него вообще никогда не было рядом по-настоящему близких.

В свою последнюю ночь Брат залез к нему на диван у камина, положил голову на колени. Хриплое дыхание напоминало скрип старого дерева. Евгений гладил его по голове, зная, что ничем уже не помочь. Наконец пес заснул. Евгений его не тревожил, сидел, стараясь не шевелиться. Камин погас, ветром распахнуло окно. К утру оба заледенели. Евгений — от холода и неподвижности, у пса началось естественное окоченение.

Похоронил следующей ночью на человеческом кладбище, за всеми могилами, у ограды. Брат был замечательным псом: легким на подъем и характер, в отличие от Романова, умел прощать обиды и ушел так же легко — во сне. В этом Евгений увидел какую-то высшую справедливость.

Сам Романов не мог простить предательства самой близкой. Ее исчезновения. Когда не знаешь, где искать... и проще похоронить. Подарила мир, а потом отняла, унесла с собой. И огонь в окне погас.

«If You leave me, close the door, I'm not expecting people any more...»⁵ — пела виниловая пластинка из прошлого.

И прошлое, возвращаясь без предупреждения, возвращало желание ждать. Эта странная клубная мода их юности: красить волосы в разные космические цвета. Недавно на перекрестке увидел трех девчонок: красную, синюю и зеленую. Синяя дрожала в мини-юбке, переминаясь на тонких ножках в увесистых ботинках, точно якорях, чтобы ветром не унесло хлипкий кораблик. Романов невольно улыбнулся, вспомнив Жанку. И загадал: если синяя обернется, то...

Потеряв Жанку, продолжал ли любить ее, и как долго, или только помнил, что должен любить, чтобы вернулась?

Синяя оглянулась.

И в этот раз, навещая Брата, он купил цветы. Собаке цветы не нужны, конечно. Брату припас ливерную колбасу. А цветы отнес на другую могилу, тоже из прошлого, будто замаливал Жанкины грехи.

Дождь настиг по возвращению с кладбища. Немощная глинистая дорога превратилась в болото. Лезвия дождя полосовали лицо и шею. За ворот пальто натекло до поясницы. Романов не смог дойти до автобусной остановки, укрылся по пути в забытой кем-то и не демонтированной с двадцатого века телефонной будке под фонарем. Темнело, и потоки воды по стеклу создавали ощущение капсулы времени. Евгений снял трубку. И вдруг услышал гудки! Как таксофон до сих пор работает? И какими монетами платят за разговор? А главное — кому звонить, если у всех давно мобильники?

Он долго стоял и слушал гудки, как музыку, когда силится угадать мелодию и вспомнить композитора. И понял, чего ждет. Первого снега. Год от года северные зимы короче, снег приносит свет и очищение в ноябрьские дни все позже и позже. А в снеге и есть начало начал.

Джанет, в нашем веке

В поезде, впервые за много лет, Джанет увидела настоящий сон. Работая по ночам, отвыкла от сновидений. Засыпала на рассвете, просыпалась за полдень, а сны, как известно, дети ночи.

Во сне шла по канату в туфлях на высоченных шпильках. Канат был натянут над облаками, и земля проносилась внизу, будто снимали ее, как на канале «Discovery», с птичьего полета. Джанет не испытала ни малейшего страха высоты, как в жизни, словно впервые за плечами кто-то стоял, кто непременно подхватит и удержит от падения. Проснулась отчего-то в слезах, хотя во сне была уверена, что не сорвется, несмотря на неустойчивую походку на каблуках.

Над головой в вагонном окне мелькали темные деревья и серые столбы, а между ними — просверки обледенелых и вибрирующих, как звуковые волны, проводов. Песнь севера. А провода — канаты, связующие нити меж городами, домами, людьми. И ты скользишь по ним туда-сюда, как неуправляемый вагончик, а когда-то мечталось о твердом шаге канатоходца...

Сон медленно перетекал в мысли, обрастая судьбоносными символами, растворяясь в утренней зябкой неге, и она бы летела еще долго, если бы не хлопнула дверь купе. Внезапное приземление — и Джанет столкнулась нос к носу со своим отражением двадцатилетней давности. Синеволосая девица, вероятно, села в поезд после Твери, когда Джанет уже спала. И предчувствие прошлого отозвалось неприятной тягучей болью в солнечном сплетении.

⁵ «Deep Purple». «When a Blind Man Cries».

«Как глупо, — подумала. — Все круг за кругом возвращается в жизнь, как времена года и мода. Все, кроме людей. Отпустила человека — и считай, что потеряла навсегда. Пройденный без тебя отрезок пути изменит его, и встретишься ты уже с совсем другим человеком, если вообще посчастливится вновь оказаться на одном перекрестке. Да и сама я меняюсь — непредсказуемо и неотвратимо».

Узнают ли ее на Озерном проспекте, набережной, на улицах некогда родного города? И кто из бывших близких окликнет первым?

«Ты похожа на Тильду Суинтон, есть в тебе что-то потустороннее», — повторяли друг за другом почти все ее мимолетные любовники.

Джанет старалась быть незаметной. Вписаться в облик любого города, где бы ни жила. Становилась своей в самых разноцветных и разноязыких компаниях. Она не заботилась о красоте или молодости, как большинство женщин. Русые волосы давно не красила, косметикой не пользовалась, слово «юбка» для нее звучало таким же устаревшим, как, например, «вуаль». Одежду молодежных брендов диктовал размер — подростковая худоба. На тонкой коже вокруг глаз проявлялись морщинки-лучики, когда улыбалась, но никто не спрашивал: «Сколько тебе лет?» Призраки существуют вне времени, а ящерицы не стареют. Ящерица — татуировка на плече — и аватар фрилансера — личный тотем Джанет. Идентичность образов подмечали все: друзья, клиенты, любовники. То же неуловимое, ускользающее обаяние. Ящерку всем хотелось поймать, а Джанет научилась быстро бегать, отбрасывая прошлое, как хвост, избавляясь от мыслей, чувств, привязанностей, обязательств.

— Тебе скоро сорок, не пора остепениться? — робко спросила мама за ужином.

— Анаграмма, — отмахнулась Джанет.

В ее жизни все переворачивалось и менялось местами. После осени наступало лето, после заказчика — его конкурент. Джанет будто удерживала равновесие на канате: нельзя останавливаться — заштормит, нельзя поворачивать назад — сорвешься и упадешь. Она не задумывалась о том, кто, где и когда дал ей фальстарт, теперь оставалось бежать вперед и вперед. Сад расходящихся тропок — иллюзия, и бесполезно искать, на каком перекрестке свернула не туда, потому что у каждого из нас единственный путь — предначертанный. А какой именно и поименно — знать никому не дано.

Джанет не спала по ночам, чтобы не очутиться внутри сумрачного сна, от которого просыпаешься, как от выстрела. Страх победить нельзя, он — часть тебя, но можно заполнить пустоту новыми впечатлениями, планами, повседневными делами, горящими заказами или идеями для проектов, и тогда ему негде будет гнездиться. Лучше всего со страхом справлялась дорога. Адаптация в незнакомом городе требует сил, перетягивает внимание на решение самых простых проблем: где поесть, как найти ночлег, укрыться от дождя. Так живут «божьи птицы»: кочевники, паломники, странствующие монахи. Джанет словно обретала истинную свободу — от рождения, паспортных данных, предназначения и своего места в мире. От самой себя. И побег в никуда затянулся на годы.

«Быть в нашем мире означает быть другим», — книжный постулат из детства превратился в мечту, мечта сбылась, и Джанет оказалась на краю отчаяния. Отчаяние также замалчивалось внутри себя, в него, как в твердую, неподатливую землю, с трудом и потом вбивались новые вехи на бесконечном пути. Она пыталась работать — ее увольняли. «Увольнение — от слова „воля“, а работа — от слова „раб“», — писали в Интернет те, кто остался сидеть на стульях за стенами офисов и контор, а Джанет пленил Интернет, превратив в виртуальную сущность.

Она вышла замуж за архитектора, проектирующего дома. Семейный дом был улан цветами, но не просуществовал и года: от осени до весны. Муж строил Москву, но родился и повзрослел в Грозном. Джанет им восхищалась: вырасти на войне, чтобы

строить мир. Бродили по Москве, а он рассказывал ей о портиках и фронтонах, как о живых существах: рождаются, продолжают в архитектурном стиле других домов, как в детях, стареют, умирают. Камни в его руках оживали, а Джанет чуть не погибла. Вычистила потом напрочь из памяти, как это корчиться на полу, стараясь уберечь живот и грудь одной рукой, а другой закрывать лицо подушкой, чтобы смягчить удары. Проснувшись утром и ощутив, что может ходить, замазала тональным кремом синяки, запихала в рюкзак весенние вещи и, закрыв за собой дверь, бросила ключи в почтовый ящик. На кухонном столе ждал приготовленный завтрак с запиской под чашкой: «В следующий раз веди себя прилично. Люблю. Буду не поздно». Но было поздно. Она обналичила подарочную кредитную карточку и шагнула в пустоту съемной квартиры. С тех пор привыкла поднимать из руин свой маленький мирок, и даже не спилась, потому что алкоголь тоже союзник воспоминаний, а значит, прошлого, а она устремлена в даль будущего.

«Выбери своего. В семейной жизни важнее, когда тебя любят, а не наоборот», — советовала мама. У Джанет могли бы сложиться серьезные отношения с мужчиной нордической внешности, если бы светлые глаза не обесцвечивали сразу и бесповоротно любую возможную страсть или хотя бы близость. И Джанет выбирала одиночество, а иногда безъязыких мальчиков-птиц: чем моложе, тем меньше накопилось в нем мужского шовинизма. Иногда замечала олений взгляд у заказчиков на встрече — вот с кем бы точно все получилось, дело объединяет, — но проверять, начался ли весенний гон, не хотелось. Финансовая независимость для одиночки — главное условие выживания, а секс и бизнес не смешиваются, как вода и масло.

Словом, по традиционным меркам родителей жизнь у нее не сложилась.

И сейчас, после ужина, просматривая семейный альбом, Джанет сама ощутила крах. Она не помнила отца молодым: наука его быстро состарила, полысел, носил очки. Но с фотографии студента-математика на нее глядели цыганские глаза самого первого. Вся ее концепция невозвращения оказалась на поверку иллюзией. Будто ходила по дому голой, ощущая себя невидимкой, а стены были прозрачными, и толпа вуайеристов наблюдала за ней. Эти глаза возвращали ее в прошлое снова и снова — с другим, другому, но по кругу — по кругу. Она будто всю жизнь воскрешала одного и того же во многих-многих. Дежавю.

«Могла бы остаться, никто ничего не знал, не винил тебя в случившемся».

«Истекая кровью после неудачного замужества, могла бы приползти домой — зализать раны, глядишь, и осталась бы навсегда, и сейчас у тебя была бы жизнь, а не побег от нее».

«Мы же совсем одни! Поначалу страшно было заходить в квартиру... Обе ушли... покинули нас одновременно: ты улетела, Мага умерла. На внуков надежды нет».

Споры, разговоры текли, как реки, но не сквозь них, сидящих за столом, а мимо, в невозвратное прошлое, слова не становились жизнью.

— Ладно-ладно, — подняла наконец руки вверх Джанет, и ее «иду спать» прозвучало как «сдаюсь».

— Твоя комната тебя ждет, — вместо пожелания спокойной ночи сказала мама.

В комнате детства Джанет встретил музей имени Жанки. Трюмо с зеркалом, испитым фломастерами. Стены в бурых полосках и уголках клея на обоях — след рок-н-рольных плакатов. Правильно, что мама и не заикнулась о покое. Как тут уснешь?

Джанет распаковала ноутбук.

— Все-таки решила работать в ночь?

— Нет, просто почитаю немного, чтобы заснуть.

Джанет выключила свет. Родители без нее комнаты не запирали, так и не успели залатать дверь, чтобы плотно подходила к полу, и полоса света из-под нее была в гла-

за, мешая спать. Переместившись с ноутбуком от стола на диван, отодвинула шторы. Диван по-прежнему стоял у окна. Но двор за окном был темен и слеп. Джанет поежилась. Ноут горел бледным, почти невидимым светом.

— Побереги глаза! — сказала мама, как в детстве. — Хочешь, зажжем светильник? Он неяркий, не помешает.

И принесла маленький мраморный домик, окна которого некогда освещали столько жизней.

Джанет захлопнула ноутбук, положив на крышку тетрадь. «Мне бы хотелось быть чьей-то мечтой», — прочла в первых строчках Жанкиного дневника. Странно, но себя она не идентифицировала с подростком, писавшим эти слова. Даже почерк в дневнике показался чужим. Таким вдумчивым и старательным! Сейчас она пишет бегло и часто не может разобрать иероглифы набросков идеи или телефоны заказчиков в записной книжке. От ночных бдений за компьютером село зрение, и теперь призрачные фонари Жанки, освещавшие город в ту первую ночь сквозь слезы, стали ее импрессионистской реальностью. Зыбкий мир, где каждый шаг вслепую, как по тонкому льду, неопределенность пределов.

Дневник мама сохранила: «Не заглядывала после той ссоры ни разу, но выбросить рука не поднялась». Как и светильник. Как все, что осталось от Жанки. И Джанет узнавала себя заново, проживая дни, некогда стертые из памяти, переписывая своим почерком Жанкины строчки.

Из дневника выпал рисунок. Акварель и чернильные штрихи на половинке альбомного листа с бахромой оторванного по линейке края. На рисунке — кряжистое дерево, а внутри ствола горит окно, как маяк в темном лесу. Жанка любила деревья. И птиц, гнездившихся в кронах. Птицы не поют на лету, им нужно на что-то опереться, присесть на ветку. Когда она нарисовала это? До или после полета Инги?

Вопросы-вопросы... без ответа. Джанет будто счищала патину времени с зеркала памяти, смывая за слоем слой, не надеясь выровнять некогда кристально ясную поверхность.

Ночь осталась без сна.

— Ты куда? — утром спросила мама в дверях.

— Прогуляться.

— И правильно! Нельзя сидеть днями в четырех стенах. Нужно общаться с людьми. Я недавно встретила в городе Леру, хочешь, дам тебе ее телефон?

— Позже, сначала я переговорю с той, что давно меня ждет.

Вряд ли Джанет смогла бы предсказать, что первой прогулкой после возвращения в родной город будет по кладбищу. По улицам мертвых, отгородившихся от суеты живых литым забором. Ржавые ворота на замке, вход через узкую калитку. Где-то за городом раскинулось новое кладбище, а сюда редко кто возвращается. Калитку караулили две старушки с сухими букетиками и сонный, горбатый смотритель кладбища. «Харон со свитой», — усмехнулась Джанет и взяла у старушек синие звездочки с неизвестным названием.

В аллеях между могилами стояла столь густая, неподвижная тишина, что Джанет увидела ее цвет — бурых фотографий — и почуяла запах — сырости. Имена под портретами повторяли друг друга. Не существовало человека с уникальным именем, а значит, судьбой. Жизнь любого из нас — как выщербленный ветрами прочерк между датами рождения и смерти. Учился, плодился, делал что-то, недоделал, исчез вместе с памятью последнего навестившего. Пустота в финале, одинаковая для всех: ложась в землю, не вознесешься на небеса.

«Странное дело, — размышляла Джанет. — Человек, наверное, изъян эволюции. Никто из живых существ больше не стремится выделиться среди прочих при жизни

и остаться после смерти монолитной плитой надгробия, наоборот, звери прячутся, маскируются под окружающую среду, вливаются в поток, воплощаются частью мозаики неуловимого времени и уходят тихо, с весенним перегноем продлевая чужую жизнь, и только человек копит себя, разбухая, как раковая опухоль на теле вселенной. Писатели, художники, музыканты... живут в шедеврах искусства, героини — в заглавиях улиц, бизнесмены — в международных банках, никчемные домохозяйки — в детях, перелетные мальчишки — на фотках в соцсетях. Современное человечество оцифровывает каждый свой шаг... Я существую, хочет сказать человек. Но живу ли по-настоящему? Чувствую себя живым? Не страшно ли мне при этом?»

Джанет чувствовала себя перекачанной. И страх за плечами, как вездесущий ветер пустыни, гнал вперед и вперед, чтобы сны из прошлого не настигли в пути, не сожгли в костре вечной, как ей когда-то казалось, памяти. Отречение от себя спасало от пламени раскаяния. Если любой из нас рано или поздно обречен на забвение, то не обратится ли оно в прощение для нее? Равнодушные — это когда все равно и потому все равны. Или у каждого из нас — своя мера вины? Где та точка невозврата, когда проступок становится преступлением и обрываются все дороги в нормальный мир? Кто способен определить ее раз и навсегда? Уж точно не блюстители закона, который каждый из них выворачивает себе на пользу и в оправдание.

Темнело, лес вокруг молчал, и в тишине неприятно шелестела палая подмороженная листва под ногами. Ярко атели вспышки рябины на оголившихся черных ветках. Небо уходило из голубого в темно-лиловый. Ясный день уступал место ночи, осень скоро уступит место зиме. В этом году на севере она непривычно долгая, будто ждала возвращения Джанет, прежде чем сдаться. Грань времен, оцепенелое предзвездье — как предчувствие чего-то неотвратимого...

Внезапно вспомнилась синеволосяя девица в поезде.

«Перекрасить волосы — значит стать другой, — продолжила видение Джанет, бродя по тропинкам между могилами. — Нужно отстаивать право быть собой, а не меняться, как хамелеон».

«Быть „как все“ легко, быть собой — это поступок, достойный восхищения», — вспомнилась строчка из романа «Над пропастью во ржи», обретенного как раз в то время, проложившего для нее третий путь. От одиночества к уединению за пределами мира. Холден Колфилд — первый неприкаянный, кто болтается по страницам книги между людьми без цели и смысла, без места, определенного, казалось бы, каждому из нас. Его пропасть за неимением дна превратилась в космос, падение — в полет к неизведанным звездам. Позже Джанет разгадала великую мистификацию Сэлинджера: он создал икону нового поколения, предсказал появление тех, кто шагнет за край. Послевоенные дети и были детьми ловца во ржи. Дети цветов верили, что хорошей песней можно изменить мир, мы слушали их музыку и шли за ними, как за Гамельнским крысоловом.

«А ведь в тот год рок окончательно сменился рейвом», — озарило Джанет. Для нее это было важным открытием прошлого. Хронотопом. «Скажи мне, какую музыку ты слушаешь, и я скажу, кто ты», — твердила она. Рок был музыкой ее родителей, Эдемом, последним оплотом правды и красоты. Бунтом мира, где выбор между жизнью и смертью все еще принадлежал человеку.

На мраморной плите Инги Джанет увидела живые цветы. Каллы. Белые, хотя невинной Инга не была. И главное — три нежных бутона, будто тот, кто принес цветы, в смерть не верил. Кто он? Родители Инги принесли бы четыре.

Позже Джанет узнает от мамы, что каллы — цветы покойников.

А сейчас швырнула в урну свой синий букетик. Инге такие цветы не нужны.

— Я была последней, с кем ты говорила перед тем, как..., — начала она, но слова оборвались, как обрываются провода под тяжестью льда, и в телефонной трубке повисает тишина.

Ласкала, отогревая в ладонях, замершие стебли увядающих цветов, вновь испытывая полную беспомощность перед неизбежностью прошлого — ничем не помочь.

«Жизнь существует в пределах... Мы с Ингой шагнули за... Только она взлетела, а я все никак не могу встать на крыло. Может, вместе с ней я убила и в себе способность любить? Утратила все, что некогда было мной, и склеила себя заново из пустоты? Что если я вернулась, чтобы вернуть себя, прежнюю? Чтобы наконец быть?» — спрашивала себя Джанет шаг за шагом по дороге назад, в город живых.

В темноте вспыхивали искорки. Кусочки замороженного неба, падающего на землю. Первый снег.

ГЛАВА 2. АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ

Стекланный купол остановки вобрал в себя людей и собаку на поводке, как ковчег завета. Снаружи очертания мира поглощал снег. Миниатюра вселенной, где все чего-нибудь да ждут. Исполнения мечты или хотя бы троллейбуса, чтобы тронуться с места. Временные пленники застеколья.

«Героями не становятся зимой, на пороге эпох», — вспомнилась давняя строчка.

— Жить нужно так, словно тебе всегда шестнадцать, — поучал кто-то собеседника за спиной.

Захотелось оглянуться и спросить: «Как?»

— В шестнадцать человек еще доверяет миру и людям, а главное — верит в себя. Вот я сейчас загадаю — и мы все уедем, — ответил голос.

Из снежной пелены внезапно вынырнул троллейбус. Обитатели ковчега ринулись атаковать распахнувшиеся двери. Вспыхнула искра и побежала по проводам. Троллейбус уронил усы — и свет внутри погас.

— Теперь никто никуда не уедет, — восторжествовал невидимый собеседник.

Из дневника Жанки, на грани столетий

Гостей города на вокзале встречает вой громкоговорителей, на жителей в домах орет радио: «Штормовое предупреждение! Будьте осторожны, по возможности оставайтесь в помещении! Высота волн достигает пяти метров, ветер до тридцати метров в секунду. Воздержитесь от посещения набережной! В ближайшие сутки ситуация может ухудшиться...»

Никто не слушает. Гости жужжат полароидами, местные спасают свои машины из ледяного плена, вычерпывают воду из подвалов домов, долбят лед.

К началу декабря озеро не успело полностью замерзнуть. Циклон с Белого моря принес с собой штормовые ветра. При температуре минус десять глыбы волн обрушиваются на набережную и почти сразу застывают. Все скамейки, фонари, памятники похожи на причудливые ледяные скульптуры, сталактиты пещеры сурового северного божества. Ветер сбивает с ног, деревья ломаются, машины сносит в озеро. Ледяные торосы надвигаются на город, как непобедимые воины, черные языки волн дотягиваются до близлежащих домов. Городские службы со стихией не справляются, жители набережной борются сами, им помогают окрестные районы.

И все это под оглушительный свист ветра и треск льда.

— Песнь севера, — говорит Джексон, обнимая меня.

Я еле доползла до набережной. Автобусы сюда не едут, выбрасывают всех посреди проспекта, а потом скребешься по льду, сгибаясь пополам от ветра. Ощущение — будто всю душу выдуло.

— Наш зарецкий Шувано предсказал затишье на седьмой день. Многое к тому времени будет разрушено... Я ему верю. Видел над его домом свечение. Мои говорят: колдует, а я считаю — знает приметы.

— Шувано?

— Шаман по-вашему.

— Хотела бы я увидеть!

— Северное сияние или шамана?

— Сияние. А шаман — это старик из дома на краю поля с глазами ящерицы?

— Странно, что ты его видела. Он не показывается посторонним. Даже моя мать ходит к нему за советом, когда совсем край и не знает, как исцелить.

Вспомнилось газетное объявление с портретом юной женщины, повстречавшейся осенью у калитки с бидоном в руках: «*Раина. Потомственная цыганка. Гадалка. Целительница*».

«Каждый выживает, как умеет, — сказал тогда Джексон. — Наш дом снаружи ветхий, уродливый, а внутри почти модный салон, тебе бы понравилось».

Я не решилась напроситься в гости: с чужими за один стол садятся только гадать. Но какой красивой и молодой была его мать после рождения четверых детей!

«Для ромов время течет иначе, — объяснил Джексон. — Можно всю жизнь быть молодым, а потом состариться за одну ночь. Молодость, старость, время... — потоки природной энергии. Это как вода: бывает замерзшей или стоячей, чаще течет ровно, как ручей, а бывает, проливается».

— О Боже! — завопил кто-то слева, как из громкоговорителя.

Мы развернулись по команде. Стояли на скамейке, чтобы не замочить ноги, и смотрели на гребни волн, жутко и мерно шедшие на берег. И вдруг сбоку подкралось чудовище. Хлынуло черной водой наперерез.

Джексон сиганул через спинку скамейки, подхватил меня, и дальше мы неслись сквозь вихрь ледяных брызг. Точнее, он бежал, а я ехала за ним, ухватившись за карман его куртки, как на коньках. И где-то посередине забега по обеим сторонам от нас заметила скачущих по сугробам северных лаек.

Всякий раз случается что-то из ряда вон, за гранью, когда мы вместе.

— Теперь будем встречаться каждый вечер, — заявил Джексон у подножия проспекта, карабкающегося вместе с обледенелыми троллейбусами и автобусами вверх, в город, в одомашненную зиму.

Шутили на остановке, что мир от наших встреч перевернется, потому что мы выпустим шторм гулять по городу. А взъерошенные лайки, радостно повизгивая, терлись у ног.

— На самом деле они наполовину волки. Прошлая зима была морозной, лес пустой, голод, волки бродили по городским помойкам. Наша зарецкая сука потекла в марте. Когда щенков увидели — хотели утопить. Мы забрали двоих себе, жалко же, хоть кто-то должен выжить из помета. Но они почти взрослые, невозможно и дальше держать вместе. Течка у нее скоро, боюсь, дело кончится кровосмешением. Возьми себе девочку! Нельзя разлучать брата с сестрой.

Я смотрела на Магу и думала не о том, разрешат ли мне оставить ее себе, в голове почему-то застряло словосочетание «родственные души». Если любовь и есть встреча душ двух родных существ: «Мы с тобой одной крови»? Крово-смешение. Душе-смешение. Где обитает душа? Может, она — огонь в крови?

Эта странная нежность, граничащая с болью, растворяющая в себе без остатка, медленно тлеющий внутри огонь.

Я целовалась и раньше. С Маратом, например, тренировались как-то на лестнице, потом было еще несколько парней на дискотеке. А сейчас мне кажется, что их и не было вовсе. И все было не то и не с теми, и даже не помню как.

Имена волчатам дали прямо в троллейбусе. Джексон опять как будто чего-то ждал, и щенки росли безмянными. Акелу сразу придумали, кто ж Киплинга не знает, а Мага я назвала в честь любимой детской книжки Потиевского «Мага уводит стаю». Име-на вожаков. Пусть растут сильными и смелыми, а мы будем о них заботиться. Вместе. Теперь каждый вечер.

Ближе к ночи объявился Марат — взглянуть на волчонка. Видел в окно, как Джек-сон провожал меня с двумя собаками, а вышел из подъезда с одним Акелой. И тут же соседка на лестничной площадке просветила: «Не собаки это, чистые волки, завоют, ой, что буууудет!» Ненавижу многоквартирные монолитки, как в общаге живешь: все всё про всех узнают еще до того, как что-либо случается всерьез и по-настоящему.

Мага у нас к его приходу освоилась, отмыли дустовым мылом — от зарецких дворов, как сказала мама.

— Радуйся, что не прокипятити! — заржал Марат и дал Маге кусочек сахара.

Та долго обнюхивала белый непроницаемый кубик, потом, зажмурившись, осторожно лизнула.

— Давай-давай, к сладкой жизни быстро привыкаешь.

Надо бы отобрать у нее эту первую сладость-слабость. Но поздно: разгрызла — подседа, будет теперь попрошайничать, встречать у порога, а Марат и так ко мне зачастил в последнее время.

— Ты же, Жанка, о нас забыла, в пещеру не заглядываешь больше месяца, — ска-зал он.

Пещера — это наш заповедный край. Подвал на вершине мира. Поднебесное под-земелье. Темный чердак рядом с лифтовой будкой. Стены выкрашены в черный, маленькое оконце, через которое летом на крышу лазаем, чтобы загорать, как на бере-гу озера: вид на город открывается аж до набережной, а зимой — смотреть на море огней.

Интересно, какие там сейчас плакаты повесили? Черные стены, понятное дело, украшали рок-н-рольными плакатами. Цой, «Нау», «Алиса», свои финские роллинг-стоунские приносила — те, что не жаль.

— Драм-энд-бэйс, джангл, эйсид-джаз, новая эра началась, — ответил Марат, запи-хивая кассету в магнитофон.

— А как же Коста, он же барабанщик рок-группы?

— В диджеи подался. В «Нео» его, конечно, не пускают, но это пока... Мой брат уладит.

Марата старший брат повсюду с собой таскает, и связаны они с мажорами города. В курсе всех дел, самые крутые. Сидели на диване рядом, но я чувствовала агрессию, волнами от Марата, а может, она лилась из магнитофона, мигающего красным недо-брым глазом. Мой рок тоже не ласковый лай, но когда слушаешь, например, «Black Sabbath» — ощущение, будто в гору поднимаешься, выше-выше-выше, а потом летишь над полями. А музыка Марата уводила по нисходящей, в темный лес, шаг за шагом, вниз по тропам, в тоннели пещер под корнями мертвых деревьев, и под ногами хруст-тели сколопендры и белые черви... Жуть!

— Эй! Вы там грохотать закругляйтесь, мы спать ложимся, — постучал в дверь папа.

— А он у тебя кто? — спросил Марат, убавляя звук на магнитофоне.

— Как кто? Математик.

— Ага, с таблицей умножения на лбу родился. Откуда родом? Вид у него не северный, — с издевкой пояснил Марат.

— Из Кабардино-Балкарии. Учился в Ленинграде. К нам рыбу ловить приехал на каникулах. На причале, тогда еще он был деревянным, волшебным, не то что сейчас, набережная в гранит закована, встретил маму. Она ждала кого-то или чего-то, наверное, чудес. И появился папа на горизонте и решил остаться у нас на севере, потому что у мамы глаза синие, как наше озеро... — начала рассказывать в сотый раз семейную историю.

— У тебя глаза в мать, а вот кровь — отцовская, может, и не голубая вовсе, как ты тут хвасталась про дворянское имение в питерских широтах. Черная у тебя кровь. Мы все гадали, чего от тебя цыгану нужно. И решили, что свою признал.

Я задумалась, но будить папу расспросами, были ли в его роду цыгане, поздновато. Утром же эта заполосная мысль Марата и вовсе не правдоподобной показалась.

— Ты приводи его к нам, в пещеру, — шепнул он уже в прихожей.

— С чего вдруг? Вы ж его за человека не считаете! — возмутилась я.

— Ты не нервничай, просто передай ему, что ждем, он поймет. Это и есть моя просьба, Жанка.

Дверь захлопнулась, и в квартире стало темно. А я еще долго сидела на корточках под дверью в прихожей и думала-думала-думала. Вести Джексона в пещеру или нет. Сожрут его, или, наоборот, обратит нас всех, потерянных, в свою веру, как Данко.

Пещера поразила преображением. На стенах кислотными красками нарисованы странные грибы и растения. На полу в самодельном мангале горел костер. Окно наглухо задраено, свет шел лишь от огня, а по стенам бродили причудливые тени. После яркого света подъезда с трудом присмотрелась к сумраку, чтобы разглядеть сидящих вокруг костра.

Кирилл — брат Марата. Коста. Алиска. И даже Лера одарила своим присутствием. В уголке Инга, зябко поеживаясь, дула в ладошки. Марат, открывший нам дверь, проводил к костру. Кирилл поднялся навстречу, протянул руку Джексону. Я тоже почувствовала скользнувший холодок от шейных позвонков, через плечи, к кончикам пальцев, и меня, как Ингу, зазнобило. Без меня Джексон бы в пещеру не сунулся. Он и без нас прекрасно жил. Я виновата, что притащила его сюда...

— Где тебя носит?! Два часа ночи! Завтра в школу! — кричала на пороге мама.

В школу завтра никто из нас, наверное, не пойдет. Хорошо, что мы с Джексоном собак успели выгулять по Зареке. Остатки ночи почти не спала. Зеркало трюмо разбилось от ветра. В темной пустоте проявилась сидящая на корточках в позе зародыша я-будущая. Голая и белая, как суккуб, с черной татуировкой ящерицы на плече. Прошлепала босыми ногами в кухню, оставляя за собой мокрые блестящие следы на полу. Мимо меня прошлепала. Не замечая. Так, словно меня и не было в комнате. Будто это я существую в ее мире, а не она в моем.

Проснувшись в ледяной лихорадке. Мага тихонько посапывала в ногах на диване. В кухне капала из крана вода. Капли ударялись о железное дно раковины, а мне слышался звук удаляющихся шагов по невидимому коридору.

Джанет, в нашем веке

Во снах Джанет никогда не бывала собой — существовала кем-то или чем-то другим, а потом сны отстали. В путешествиях усвоила эзотерические практики — как избавиться от кошмаров прошлого и жить в моменте. Ни прошлого, ни будущего в до-

роге не существует. И то и другое — проекции в мыслях, иллюзии волшебного фонаря подсознания. Сиюминутное — средоточие личного мира, где прошлое переосмысливается и пересоздается с позиции сегодняшнего опыта любви и боли, а будущее не более чем страх или греза: завтра не случается никогда, потому что воплощается все в том же растянутом во времени сегодня и всякий раз иначе, чем виделось, ожидалось. В темной комнате нет ничего, кроме знакомой мебели, чьи очертания изуродовала или, наоборот, приукрасила ночь, и никакие чудовища не живут под кроватью, а в изголовье ее не сидят возлюбленные.

Детскую сказку о двух волках изменила жизнь. В сказке обитали два волка по имени «мечта» и по имени «страх», счастье было обещано тому, кто кормил правильного волка. Но память путевых заметок — некоторые открытки возвращались к Джанет, не достигнув адресата, и она хранила их — подсказывала, что волк о двух головах и кормится он из одного источника ничем не оправданной фантазмагории воображения.

В итоге Джанет отказалась от детских сказок, как и от книг вообще, где миром правил экзистенциальный хаос, а герои болтались по страницам романов, как дерьмо в проруби, в поисках ответов на проклятые вопросы и неспособные обрести смысл существования погибали. Смысл она могла различать лишь в движении — безоглядно вперед. И каждую ночь, закрывая глаза, проваливалась в кромешную тьму забытья. Джанет не помнила, что снилась себе когда-то. А сейчас явственно ощутила запах хвои, продираясь сквозь лесной туман Жанкиных строчек.

Отбросив дневник, вдруг встретила с собой взглядом: зеркало трюмо отражало край дивана у окна. И Джанет смотрела на себя, как в Жанкином сне: сидела раздетой, поджав колени к подбородку, и на голом плече чернела татуировка ящерицы.

Зачем она сделала татуировку? Изначально образ ящерицы заменял фото на неуловимом аватаре фрилансера в сети, а потом... Хотелось наконец поймать счастье, всегда держать его под рукой? Прикрывая плечо ладонью, Джанет улыбалась лучу света из детства, внутри которого, как на экране, возникала картинка, где они с отцом играли на солнечной тропе меж камней. На камни погреться выползали ящерицы. И нужно было, оставаясь в тени и не шевелясь, тихонечко протянуть раскрытую ладонь к камню. Затаить дыхание и ждать. Ящерица чувствовала, что ладонь теплее камня, и перебиралась к ней на руки. Джанет всякий раз испытывала непередаваемый трепет, ощущая касание этих маленьких, легких, почти человеческих пальчиков. Слово сама вселенная разгуливала по ладони без страха. Так и Джанет доверялась дорожному будущему, отбрасывая прошлое, как хвост, возрождаясь снова, снова и снова. Выращивая себя из ничего.

Ящерица — как символ побега, а татуировка — печать, самоидентификация, его втайне желанная невозможность?

Совсем недавно, на подступах зимы, поила молоком ящериц — обитателей зеленой стены в Сорренто. Молочницу в отеле выдавали на завтрак под кофе, а блюдце можно было позаимствовать в столовой и поставить на подоконник. В первый день приползла одна, а потом целая стайка ящериц, словно они делились секретами друг с другом. Джанет лежала на кровати с ноутбуком, глядя, как они лакают молоко, сама вдыхая цитрусовые эликсиры средиземноморского юга. В тех днях зима не могла с ней случиться, а сегодня за окнами метет, уже третьи сутки, и кажется, что в мире нет ничего, кроме снега и темноты. Уезжая на север, оставила записку на зеркале на трех языках — русском, английском и итальянском: *«Ящерицы у вас за окном полюбили молоко на завтрак. Не разочаровывайте их!»* Кто-то поит их сейчас...

После расставания с Магой Джанет отчаянно не хватало живого тепла. Мага умела любить безусловно, прощая все на свете за сущую малость — быть рядом, и по своему заботилась о ней. Пристально и понимающе, будто испила душу до дна встре-

чающим у порога взглядом; нежно и осторожно, боясь повредить раны внутри, лишь положив голову на колени или молча осушая слезы шершавым языком; обучая получать все домашние блага просто потому, что проснулась и дышишь.

Умирала Мага без Джанет, тоже в метель, посреди зимы. Звонки родителей остались без ответа, Джанет в ту зиму потеряла мобильник. Мага вернулась во сны, оберегая ее. Джанет верила, что такой и была ее первая жизнь на земле: одинокого охотника с собакой, бредущего сквозь снега. Просыпаясь, видела свой тоскливый, почти волчий взгляд в зеркале.

Взгляд отражения — как доказательство, что жива, документ без срока хранения.

«Моя лучшая фотография», — написала Жанка на зеркале черным маркером. Всмотреться в себя, как в воду времени, прочесть, как сонник.

Первое, что удалось разглядеть: человек никогда не бывает по-настоящему красив. Свежесть шестнадцатилетнего лица скрывает безвкусная косметика: черные тени, синие волосы, блестки на скулах — стать взрослее и ярче, обрести себя, примерив все маски превосходства. К тридцати семи, битая, обретаешь чувство меры и способность стереть с лица все, кроме себя, но боишься уже цифровых камер с рекламным слоганом: «Точностью превосходим жизнь». Рубцы времени никаким стилем не перекроешь. И это не сугубо женское. Общечеловеческое. Мальчики Джанет уродовали себя пирсингом, крашеными бакенбардами и мефистофельскими бородами, а потом, когда все это начинало ржаветь и лысеть, отражение в зеркале заднего вида безжалостно демонстрировало им бульдожьи брыли и второй подбородок.

В детстве считаешь, зрелость — это свобода, а повзрослев, мечтаешь о детстве, как о потерянном рае. На внутреннем экране памяти возник грустный видеоролик под названием «Как мелеет счастье». В первых кадрах по бульвару шагают и смеются семеро закадычных друзей, вокруг цветет-благоухает весна; зыбкой осенью — помрачневшие трое, в зимней мгле — никого: года летят, листья опадают, люди убывают, желания так и остаются желаниями. А вокруг все темнее, темнее и темнее...

Четыре часа дня, за окнами — ночь. Северная зима, световая депрессия. Джанет чувствовала, как тьма растет у нее внутри с каждым прожитым здесь днем. Сумрачный мир прошлого медленно окутывал ее, проникая в мысли и сны. Он догонял ее и раньше, достигал в самые солнечные моменты пути. И пока был жив, не давал покоя. Возвращение домой не случайно: пришло время выпустить пленницу из подземелья, встретиться с ней один на один. А кто кого — жизнь рассудит. Джанет устала бежать, да и от себя, говорят, не убежишь. Загнанное в угол подсознания прошлое — часть тебя, и ты возишь его с собой повсюду.

Она решительно набрала номер Леры.

— Ты давно в городе? И не позвонила сразу! Какая ты, Жанка!

Джанет поморщилась: сначала синеволосый двойник в поезде, потом провинциальное забытое имя — из девяностых.

— А в нашем неоновом саду теперь ресторан. Да, как всегда, самый лучший в городе. Уверена, от такого предложения ты не сможешь отказаться! — пропела в ухо Лера.

В ресторане заняли столик на двоих у высокого окна. На столике в полумраке горела свеча. Окно было воздушно-прозрачным: теплый пар сдувал наледь со стекол. За окном вихрями извивался снег. Деревья под его тяжестью клонились к земле, люди на проспекте втягивали головы в воротники шуб и пальто. А город чудился дрейфующим в белом море айсбергом. Айсберг не может пойти ко дну, но у Джанет опять возникло ощущение, будто все они медленно тонут.

Капсула времени не спасет, сколько бы боев ни пережил сад наслаждений, рано или поздно...

«Надо убираться отсюда, — подумала, пока Лера изучала меню. — Получу первый транш на карту — и хватит вернуться в Сорренто, по мультивизе остался почти месяц. А дальше ручеек заказов постепенно превратится в полноводную реку. И все будет, как прежде...»

Когда прежде? Жизнь разделена невидимым стеклом, а сама она словно распилена надвое в ящике. На сцене вовсе не цирка, а плахи, и не фокусником, улыбающимся детям, а кем-то зловещим, на кого не способна взглянуть даже во сне, всякий раз просыпаясь от ледяного предчувствия. Страх, как маятник: когда-нибудь устанешь уворачиваться, и он снесет тебе голову. Нужно остановить его навсегда. Да, именно это держало, мешало уехать сразу после заветного письма от клиента с цифрами, или хотя бы сейчас вдруг встать и уйти.

Поздно. Официант записал в блокнот пожелания.

Придется встретиться с Жанкой, взглянуть на нее глазами бывших друзей, вернуться к той части себя, что давно не горит, но болезненно глеет внутри. Может, удастся разжечь и сжечь или навсегда затушить? Зима — время свечей на окнах и переосмысления прошлого, а у Джанет его никогда не было.

— Где ты собираешься встречать Новый год?

Вот оно, доказательство разобщенности с миром, первый же дежурный Лерин вопрос завел в тупик. Вспомнилась шаманская фраза: «Исцелиться — значит обрести целостность».

— Не знаю. Я давно не видела снега, и Новый год обычно не отмечаю.

— Хочешь, приходи к нам, — улыбнулась Лера.

Но улыбка получилась какой-то вымученной и жалкой. И обе предпочли молча смотреть то за окно, то на пламя свечи, лишь бы мимо друг друга, ощущая себя героинями картин Эдварда Хоппера, на разные лады переименованных современными дизайнерами в сети: то одинокое кафе летит в пустоте космоса, то над полярной пустыней, то в апокалипсическом мире будущего его замечает радиоактивным песком. А за холодными окнами в мертвенно-бледном свете рядом чужие люди.

Официант разрядил обстановку: принес бокалы с мартини, Лерин салат с креветками и черничный пирог для Джанет.

Не то чтобы Джанет больше нигде в мире не пробовала черничных пирогов, наоборот, заказывала всегда по привычке, но лишь здесь он обладал вкусом другой жизни, где все сверкало, свершалось на глазах и было вновь. Залитый солнцем, насквозь просвеченный его золотом лес. Корабельные сосны тянутся в поднебесье, ковры черничных кустов под ногами опровергают возможность края. Ели чернику горстями, язык и губы чернели, как у обитателей сумрачного мира — вечность, трепещущая на кончике раздвоенного языка ящерицы. Джанет невольно дотронулась до татуировки под свитером, вспомнив ее второй, утраченный смысл.

— Ты права, я тоже не люблю встречать Новый год, — призналась Лера. — На самом деле никто не любит. Это как новая жизнь в понедельник. Мы не любим понедельники, новогодние праздники и начала, потому что их нет. Ни утро, ни новая жизнь не начинаются. Будильник выталкивает из постели, не давая досмотреть сон, троллейбус тащит на нелюбимую работу, а человек тащит себя до могилы. Каждый день одно и то же на автопилоте. Жизнь не чувствуется, не осознается, мелькает мимо. «Как и не жил вовсе», — сказал мне однажды клиент, оформляя завещание...

— Ты работаешь юристом? Мечты все-таки сбылись?

— Да, пятнадцать лет в одной конторе. Такой срок не дают даже за убийство! Знаешь, чего я больше всего боюсь? На входе в торговые центры стоят люди и раздают рекламные листовки. Боюсь, не смогу кого-то защитить, и посадят невиновного, или

попросту совершу ошибку в документах, и меня уволят... А потом встану, как они. На обочине жизни. Одежду покупаю в маленьких бутиках, там дороже, но нет этих, безликих.

— Они что, в масках листовки раздают? — съязвила Джанет.

— Нет. Но вид у них ничтожный. Уничтоженный. Не могу смотреть им в глаза. Кажется, заражусь их никчемностью — и исчезну.

— Тебя ценят, значит, существуешь?

— Я член коллегии адвокатов, мой портрет висит на доске почета! У молодости короткий срок, не успеешь доказать... и сбросят со счетов. Моя работа — как оправдание, как доказательство меня самой. У Алиски хоть дети есть.

— Окончить школу с золотой медалью, потом университет, сделать карьеру, создать семью, вырастить детей, жить по писаным законам... Вы все ищите оправдания бытия. Кто в детях, кто в бумагах. Кто в чем. Правду, что существовали. Бога нет на земле в физическом обличе, никто не подтвердит, что зачем-то вас создал, и вы ждете признания от авторитетов, считая их избранными. Иначе жизнь неправдоподобна, не по образу и подобию. Либо значишься в списках избранных, либо прислуживаешь тем, кто в них.

— В обществе нельзя быть никем, нужен статус. Каждый хочет чего-то добиться в жизни, хочет признания! Оставить свой след на земле...

— ... прожив по чужим меркам.

— А ты — другая? Что есть у тебя?

— Ветер. Лучше обойти полмира в драных кедах, чем менять дорогие туфли на одном и том же тротуарчике в провинции.

— Вот именно! всю жизнь бежишь. Все проблемы решала бегством. Только трава везде одинаковая, нигде не зеленее. Поэтому ты вернулась.

— Нет, — с усилием произнесла Джанет. — Я вернулась, чтобы попрощаться. Навсегда.

— И куда дальше? — усмехнулась Лера, ни на секунду не поверив подруге.

— В дом у моря за сотню миль от ближайшего города, — соврала Джанет. — Провожать закаты, потому что больше некого. Читать книги, потому что некому писать. Не помнить прошлого, потому что каждый день похож на предыдущий, и нечего запоминать. Только волны-волны-волны: другие и все те же. Заведу двух лаек, чтобы если одна умрет, другая осталась бы рядом. Вместо зеркал повешу картины с прозрачными венецианками эпохи Ренессанса, говорят, я на них похожа, — и время остановится навсегда.

— Полная изоляция от мира невозможна ни на бегу, ни в покое. Рано или поздно выедешь в город, увидишь себя в отражении витрин — и ужаснешься.

— А зачем мне выезжать?

В аэропорту в ожидании самолета на Москву Джанет прокручивала ленту соцсетей и наткнулась на фотографию бывшего бойфренда. Сидел в позе лотоса на стене над морем. Черные смеющиеся глаза, а над головой небо уходит в бесконечность. Вот кому плевать на все оправдания. Может, именно этим он так поранил ее? Или тем, что поза напомнила другого человека и другое небо. Шаманскую ночь на берегу озера и костер под куполом звезд. Сидели вдвоем у костра так же расслабленно... И то позабытое ощущение себя — крохотной, но неотъемлемой частицей мира, где каждому принадлежит свой кусочек берега, по праву рождения, и за него не придется бороться.

«В городе мы так одиноки, потому что из-за отсветов фонарей, витрин и окон не видно звезд. И мы вынуждены быть звездами сами себе», — сказал тогда Джексон.

Лера та еще звезда. Сколько пластических операций сделала ради третьего, пятого... мужа, который уйдет, когда кончатся деньги? При свече заметно, что не одну.

Сколько коллег подставила ради блестящей карьеры? Впервые она бросила друзей в лесу, чтобы не отвлекали от университетских экзаменов. А кого дальше — не имеет значения.

На каком перекрестке человек предает себя, смиряясь с общественной ролью как с неизбежностью, когда перестает быть собой? Можно ли в начале начал, в шестнадцать лет, сразу шагнуть по третьему пути? Не имея оправданий в виде душевной болезни или долгой службы на пользу общества? Не имея права голоса и самостоятельности, чтобы быть за себя в ответе, а не подчиняться чужим решениям — так тебе лучше, так поступают все, так правильней? Шестнадцать лет — перепутье, когда не знаешь, как поступить: любой вариант ведет к краху. Уйти или остаться? Любить или сохранить себя? Что ни выбери — проиграешь. Существует ли личность в личинке или растет шаг за шагом в пути?

Смерть Инги разделила их всех на два лагеря: осуждающие выбрали судьбу благопослушных горожан, сочувствующие полету покинули город, как Джанет. На досках объявлений в пути, тоже своего рода досках почета, Джанет читала о пропавших без вести. Объявления на остановках, столбах, у подъездов домов — как личные письма. Сколько их? Сотни или тысячи? Галереи портретов! Может, наш мир не единственный? Мы попали сюда по ошибке, и за тем, кому здесь нет места, кто-то пришел из другого мира, более счастливого, взял за руку и увел туда, где он нужен, где любят и ждут? Наверное, там всегда светит солнце.

— След на земле мечтают оставить те, кто не жил по-настоящему, — сказала она на прощание Лере.

Лера вдруг поняла, что витало над ними весь вечер, боясь прорваться сквозь частоток из ненужных слов, что вернуло бы их друг другу.

Окликнула Джанет уже в дверях:

— ...Глупо и странно называть тебя так... Я хотела сказать: не раскапывай старую историю, если вернулась за этим. Забудь. И живи, как все.

Джанет вышла из бывшего неоновое сада под снег. Лера осталась в ресторане за столиком, подождать, пока новый муж подгонит машину. Лера по-прежнему была по другую сторону стекла.

Глядя на мерцающий в свете фонарей снег, Джанет вспомнила, о чем еще рассказывал Джексон, сидя у костра под звездами. Об умирающих лесных озерах. Вокруг города раскинулось пресное море, а озера окружены дамбами. Северные озера образованы таянием ледников. Вода в них непроточная, и чем больше в озере зарождается жизни, тем быстрее оно зарастает, загнивает — и погибает.

Евгений Романов, в нашем веке

«Замкнутый в круг мир мертв», — снова подумал Романов, разглядывая сад камней на месте дома Шувано. Старик умер, дом разрушился, а власти обустроили территорию Зареки, превратив в парк над рекой.

Обустроили? Скорее изуродовали, как и набережную озера, как все, к чему прикасались. Деревянной она была романтической пристанью из гриновских «Алых парусов», а теперь закована в гранит и щерится скульптурами — подарками скандинавских городов-побратимов. Вырождающиеся викинги уже никого не могут испугать зверским видом, зато ужасают искусством. Рыбаки с сетью напоминают о жертвах Освенцима, разрывающих руками колючую проволоку. Звездное небо похоже на изрешеченную из автомата ржавую расстрельную стену. Авангард. Сад камней — тоже побратим. А наивные приезжие верят в древние сейды. «Сейдоозеро», — написано на табличке перед каменными кругами. И они разбивают палаточный лагерь в километрах от обита-

лица духов Гирваса, в черте города, прямо на газоне. Мерзнут без костров, как и принято на сейдах, чтобы не тревожить духов, живут неделями и чего-то ждут. Озарений свыше? Вряд ли, на камнях декоративную полировку видно невооруженным глазом. Верят, что души шаманов после смерти вселяются в камни. Может, они правы, и старик до сих пор жив? Летом на камни выползают погреться ящерицы, и кажется, это он присматривает за своей землей их глазами.

Сегодня Романов заметил следы на снегу у камней. Конечно, не волчьи. Волков давно не встречал. Леса вокруг города распроданы, «зеленая валюта» севера, пустыри заросли ипотечными многоэтажками. Но следы крупные и охотничьи. Служебные собаки бегут по прямой, не кружат по запахам птиц и зверья, а следы обычно сопровождаются следами хозяина на поводке. Те, что увидел, петляли меж камней. Лайка свободна, как ветер.

Евгений и сам запетлял по следу. Видел Жанку из окна на остановке, когда в метель вдруг упали усы и троллейбус встал замертво посреди Озерного проспекта. Все начали выходить. Думал, рванет к двери первым, но, как в замедленной съемке, вжавшись лбом в узорчато-ледяное стекло, продолжал разглядывать ее из темноты салона. Узнал сразу — она, но почуял, что нет. Нутром Акелы. Предчувствовал, что рано или поздно вернется, но никогда не верил в ее возвращение. Всякий из нас, проживая дни, месяцы, годы, делится в пути на встречаемых, близких и дальних, людей и зверей, перенимая их опыт и образ существования, смыслы времени и черты мироздания, пока не иссякнет источник. Мы все друг у друга учимся, даже бессознательно, мы все друг друга меняем, и неважно, к лучшему или к худшему. Случайное столкновение с кем-то в пути задает новый вектор жизни, ломает траекторию судьбы. Расширяет горизонты возможностей и желаний. Новая территория смысла осваивается и присваивается. И только свой человек способен вручить от нее ключи.

Была ли та, которую видел, Жанкой? Личность стерта или что-то блещет на дне души, как чешуя рыбки в мертвом озере? На какой стадии деления эта незнакомая женщина? Сохранила ли в себе Жанку ее повзрослевшая оболочка с новым именем, движениями, мыслями, чувствами? Или то, что вернулось, для него абсолютный ноль?

Наши следы замечает время. По заснеженному полю все равно, в какую сторону идти, белый цвет искривляет пространство. Тропинку можно лишь ощутить где-то под толщей снега, почуять, как неуловимый запах несбывшегося лета. Запах костра, хвои и предраассветного тумана над озером. Жанка любила белые ночи и растворилась в одной из них. Табор уходит в небо на рассвете, когда гаснет костер и блекнут над озером звезды. Возможно, в ней самой текла цыганская кровь, раз унесла прочь из города в большой мир.

«У всех цыган бес в ботинках», — шутили в семье, намекая на его нежелание жить на широкую ногу.

Они с Жанкой мечтали шагнуть за пределы окружения, и эта мечта изменила обоих до неузнаваемости и поменяла судьбами и местами под солнцем почти зеркально. Девочка из интеллигентной семьи колесит по миру, как его мать и сестры, а он — уважаемый горожанин при доме с камином. Ее имя не произносят на встречах одноклассников в некогда родных стенах школы, а доктор Романов нужен всем и круглосуточно на связи. Слышал, живет за границей, проводит зимы у моря и снега не видела много лет. Верил, что путешествует, а не бежит, потому что бег всегда по кругу.

Ставя виниловые пластинки из общего прошлого, размышлял о своем. Звуковые дорожки песен их печальной юности замкнуты в черный круг. Маленькая вселенная, где они жили вместе. Инга начала первой скакать по дорожкам, чтобы достичь края и освободиться. Инга сорвалась вниз, а Жанка перепрыгнула через ее кровь на дороге... перед глазами вновь возник этот кадр, ясно и жутко: темно-красное густое озеро мед-

ленно заливает асфальт, преграждая всем путь, и только Жанка находит в себе силы перепрыгнуть на другой берег, чтобы сбежать.

До ее появления в городе Романов и не вспоминал ни о чем, был занят. Яркие насыщенные дни, занятые выживанием и обретением себя. Боролся за нормальную жизнь — в ней столько замечательных вещей! Весенняя капель, треск поленьев в камине, преданный взгляд собаки, теплое женское тело рядом под одеялом, жаренная с луком картошка, полная луна, стакан виски, работа, секс, переборы гитарных струн, детский смех под окнами, свой дом... да хоть те же виниловые пластинки! Он хотел иметь семью. Он действительно любил животных. И людей, наверное, тоже. Не всех, но очень многих. Хотел быть с ними, быть, как они, и чтобы «они» превратилось в «мы». И эта борьба за нормальность забирала все силы, занимала мысли и сны. Дни, месяцы, годы жизни. Вращающиеся шестеренки часов, откидные календари-вертушки. Казалось, шел вперед, но на самом деле был заперт внутри винилового круга, глядя вслед чужим разбегающимся путям.

Романов закрыл глаза, представив трехмерную модель вселенной в виде громадных башенных часов с миллиардами шестеренок внутри. Часы и есть олицетворение времени, его воплощенная идея. А живой механизм состоит из людей: соприкасаясь и проникая друг в друга, мы вращаем время, а оно заставляет нас сходиться и расходиться в своем танце. С Джанет не встретиться, только с Жанкой. Географически они в одном городе, но физически, точнее, метафизически — в разных мирах. Их слои времени и мироощущения не в едином пространстве, и встреча невозможна. Наверное, он мог бы ее расколдовать, вернуть Жанку, если бы знал, как сделать это, не сломав часы.

Иначе другие тоже останутся. Цветные, любовные, нервные предрассветные сны открыли им двери. И они вломились толпой. Тени выходили из зеркал, бродили по квартире, перешептываясь. Перевернулся с боку на бок — лицом к стене. Притворился, что спит и не слышит. По-научному подобное явление называется сонный паралич: когда невозможно проснуться, только ждать, когда сон отпустит.

Наутро в клинику заявила бывшая. Кричала и плакала, что «Снежный барс» сломал себе шею из-за темных следов, что упаковала и перевезла к нему в новую уютную квартирку. Долгое время чемодан лежал на шкафу, а потом Барсу что-то оттуда понадобилось и...

Медсестры не знали, как ее успокоить и выпроводить вон, хозяева в очереди в приемную похватили своих питомцев на колени. Один мужик даже сенбернара умудрился затащить в кресло, хотя тот не помещался и съезжал на пол. Паника началась невообразимая.

— Чтoб ты сдох, ведьмино отродье! — выстрелила дверь кабинета.

Романов взял отгул. Встал затемно и честно пошел на исповедь. Говорят, с зарецкой церкви и начался город, когда в слободе появилось, кому молиться и жаловаться, и житие стало цивилизованным. Позже перестроили в белокаменную на двух холмах над рекой. При советской власти там был промышленный склад, в девяностые вновь отмыли витражи и стены, сделали пристанищем для всех, кого не догнала лихая пуля, а сейчас первый холм на подступе превратился в асфальтовое плато для парковки туристических автобусов — историческая достопримечательность северного края.

«Святая водичка — налево», — прошамкала бабушка, продающая свечи. Романов вздрогнул: они всегда появлялись слева, те, кто не ангелы.

В церкви дымно, хотя никто не махал кадилом. Понедельник, некого ублажать представлениями, кроме четырех бабок — одной продавщицы и трех в очереди в рай, никого не было. В оглушающей тишине священник положил тяжелую руку на голову и сказал: «Не бойся, сын мой, там, куда пришла смерть, уже нет нас, а там, где мы, еще нет смерти». Хотя вообще-то они ничего не должны говорить, кроме как «епити-

мья, читай „Отче наш“ по сто раз на день» или что-то вроде. И все равно прозвучало неубедительно. Романов знал, что смерть — это часть жизни и мертвые бродят среди живых.

После церкви решил провести шамана. Старик завещал похоронить голову отдельно от тела, чтобы не возвращаться. Романов не смог. Сидел над ним в муниципальном уродливом морге, то и дело сплевывая на пол, — затошнило: от соседних ящиков с бомжами нестерпимо воняло. Долго курил, а потом — прямо над гробом — позвонил отцу. «Ракло», — снова ответил отец. Они приехали в ночь. Оформили все бумаги в морге. Голову отец отпилил на заднем участке двора. Тело забили в гроб и отвезли на кладбище. Над одним из общих захоронений проросла сосна, как памятник, опознавательный знак. Наверное, это и есть его шаманское дерево, прорастающее сквозь все наши миры. А голова где-то здесь, заперта внутри одного из кругов. Шувано верил, что мертвые возвращаются, и не хотел быть одним из них.

Романов тоже верил, но иначе. Зомби встают из могил в фильмах ужасов, а в жизни никто не разгуливает по улицам, разбрызгивая гнилую кровь. И все-таки некоторые вещи происходят не на проявленном уровне и необъяснимы с точки зрения физики. Барс полез на шкаф, подвернул ногу и упал неудачно. Но что его туда понесло, не за своим чемоданом? И почему нельзя было стащить чемодан со шкафа на пол, а не балансировать на хромоногой табуретке? Если реальность зависит от наблюдателя, то что есть жизнь? То, что перед глазами, или твоя реакция на увиденное? С годами зрение у Евгения ухудшалось и часто подводило, а интуиция — никогда. Отец умер далеко от дома, следом за ним Романов потерял Брата, выпустил из рук, сидя у потухшего камина. Никого уже нет рядом, но, меняя мебель или делая мелкий ремонт, Евгений невольно задавался вопросами: понравился бы его новый дом Брату, гордился бы им отец? Мертвые вечно влияют на наши поступки, даже если нам кажется, что мы сами за себя в ответе.

Жизнь опять предстала хрупкой картонной декорацией. Сумрачный мир рядом, он всегда рядом, за тонкой стенкой образов и видений, скрывается в каждой тени даже в полдень. Еще немного — и хлынет внутрь нашей маленькой убогой коробки.

«Они возвращаются, снимают нас с карусели жизни, отводят за руку в тень, прилечь, отдохнуть. Обо всех не наплачешься, только о близких. Зачем она вернулась, Жанка или не Жанка? Смерти ищет? И чьей?»

В сердцах сплюнул в снег. Тот порозовел каплями. В слюне была кровь. Плохой знак. Во времена, амнистированные сегодня в силу истекшего срока давности, по темной тропинке Джексон шагал впереди. Он всех вел и привел туда, где их быть не должно было.

«Не пора ли устроить вечеринку лесных друзей?» — мрачно усмехнулся Романов, представив себе нечто вроде спиритического сеанса.

Из дневника Жанки, на грани столетий

Джексона узнала сразу. Звонит всегда четыре раза, первые два — едва уловимо, робко, никто из нас не слышит, а я жду четвертого — настоящего, способного разбудить. И только потом открываю дверь. Сегодня он зашел ко мне позже обычного, чтобы увидеть, как на самом деле устроен свет. Я играю в эту игру перед сном. Уже не могу заснуть без мраморного домика на подоконнике.

Мы полулежали на диване валетом, соприкасаясь коленями. За окном было непроглядно темно, словно воздух застыл густой тушью.

Если чуть прищуриться и не мигая смотреть в окошко домика — в точку, откуда льется свет, он превратится в живое существо. Лучи начинают двигаться, пульсировать,

ветвиться, как капилляры, тянутся к тебе щупальцами, дотрагиваются и отбегают при малейшем вздохе прочь. Замереть и не шевелиться, позволить свету познать тебя на ощупь. Тогда и сам ощутишь тепло, где-то глубоко внутри, в солнечном сплетении. Наверно, там и в нас обитает свет. Сейчас лучи соединили нас в одно целое, и что-то невосомое, почти невидимое глазу, волнами пульса перетекало от меня к Джексону и обратно, будто у нашей энергии была своя система наподобие кровеносной.

— В детстве я так смотрел на пламя костра. Чудилось, огненные языки отражают лица людей, их чувства, мысли, секреты, и чем больше наблюдаю за огнем, тем лучше понимаю всех вокруг. В мире все так переменчиво, неуловимо! Думают одно, говорят другое, делают третье. А огонь никогда не повторяется, не показывает один язык дважды, всякий раз перевоплощается в кого-то еще, значит, может поймать и сохранить в себе любого, а потом изобразить, выдать его секрет. Я верил, что из пламени можно вытянуть все тайны на свете, если смотреть долго и внимательно. И это завораживало. Я просиживал у печи или у костра во дворе летом целыми вечерами. А потом все как-то прошло само собой, позабылось.

— Я тоже в детстве многое чувствовала, понимала, а потом забыла. И только сейчас вспомнила, что мы все сделаны из света, когда купила светильник и его лучи дотронулись до меня. И в лесу я видела свет. Из окна в стволе дерева.

— Из окна в стволе дерева?

— Да, светилось в темноте, как маяк. А ты вел нас всех к нему сквозь лес. Ты смелый!

— Кстати, знаешь, как называет шаман дерево из твоих видений?

— Как?

— Древо мира. Оно растет из пламени и прорастает сквозь все людские сны. Оно может быть и родовым тоже. А дальше, когда увидишь его, должна спуститься вниз, к корням, если хочешь исправить прошлое, снять родовое проклятие, загладить вину и все такое прочее, или вверх по ветвям к небу, если нужно предсказать будущее. Можно еще лечить огнем: держать руки вокруг пламени, и дерево либо заберет болезни, очистит от всего дурного, либо, наоборот, зарядит новыми силами, отдаст свою энергию. Шувано учил мать, что огонь и есть средоточие мира, точка, откуда все проявляется изначально. Это как Большой взрыв для миллиардов маленьких галактик. Зажги огонь, и все события начнут разворачиваться вокруг и удаляться от него в разные стороны. И чем дальше, тем сложнее будет установить, откуда что берется. Таких миров очень много.

— А мы с тобой в одном мире или в разных и только соприкасаемся?

— Мы с тобой точно в одном. Но насчет остальных твоих друзей я не уверен. Они как будто приходят и уходят каждый из своего мира.

Мы поцеловались мельком. Как льдом обожгло — его губы и морозное стекло ночи, которое я случайно задела щекой, пока тянулась к нему.

— Расскажи о подруге Марата.

Почему Джексон спросил об Инге? В глазах потемнело, как за окном. Зачем она ему?!

— Ее не было в школе несколько дней, — отодвинулась как можно дальше, сказала чуть слышно, стараясь, чтобы ни одна нотка в голосе не выдала, что ревную. Лучше бы он ушел! Хочет Ингу? Пусть ищет сам.

— Навестила бы ее, — продолжал он.

— Мы не подруги, — отрезала я.

— Но ты в ответе! — резко сказал Джексон и добавил: — Ты свела ее с Маратом...

Он опасный человек, понимаешь?

Кому, как не мне, это знать. Отлегло немножко. Всмотрелась в его встревоженное отражение в стекле. Нет, Инга ему не нужна. Здесь что-то другое, о чем я не знаю...

«Отвергнутый Флорентино Ариса⁶, — подумала, — пишет любовные письма во времена чумы, и они соединяют людей. А я, влюбившись и получив ответ, написала, чтобы разрушить чью-то жизнь. Непреднамеренно, но глупо и несправедливо».

— Твои записки — легкомыслие, которое может обернуться трагедией, — сказал Джексон.

— Научила цитировать классиков на свою голову, — проворчала я, скидывая его с дивана. — Пойдем, провожу, ночь уже.

— И все-таки... — уперся он уже в прихожей.

Мама с папой зашевелились и зажгли свет в своей спальне. Я вытолкнула Джексона за дверь и сама вышла следом на лестничную площадку.

— Я все контролирую, не беспокойся, — сказала надменно, закинув ногу в мохнатом тапке на перила. Должен же он знать, в конце концов, кто его любит и как ему повезло?! Королева двора или нет — района, а то и города. Будем вместе править Твин Пиксом.

...Боль была адской. Рука Джексона мгновенно стянула все волосы на затылке, будто с меня сдирали скальп... И мы целовались до кровавых губ на этой чертовой лестнице, и лунный свет из створки распахнутой форточкой падал на ступеньки, и верилось, что ведут они не вниз, на улицу провинциального города, в ночь, а вверх — в поднебесье.

В те дни мы часто ссорились, мирили нас только собаки. Уговор есть уговор. Магу с Акелой нельзя разлучать надолго, выгуливали их каждый вечер вместе, иногда Джексон с Акелой приезжал к нам, иногда мы к нему на Зареку.

Инга не появлялась в школе пять дней и не ночевала дома четыре ночи, а в доме шамана горел свет. Не знаю, как нам пришло это в голову, но мы вдруг поняли, что она там. И после прогулки, оставив собак у Джексона во дворе, решили зайти к Шувано.

— Входите, — проскрипел он, пропуская нас в свою пещеру сквозь дыру в заборе. Калитки у забора не было. Снова ужаснул его мелькающий взгляд ящерицы, будто считывает тебя за слоем слой.

В широкой квадратной комнате горел камин и на пол были набросаны волчьи шкуры. Мы с Джексонном переглянулись. Хорошо, что не взяли с собой собак. Мага с Акелой бы такого не вынесли. А у задней стены... я увидела Ингу. В люльке, подвешенной к потолку. Точнее, это была наша финская лодка-байдарка из тонкой бересты, обвязанная пеньковыми канатами, крепившимися к потолку, и уютным пледом внутри. Инга спала, свернувшись калачиком, как зародыш. Самодельная люлька чуть раскачивалась, отбрасывая тени на стены. Плыла сквозь ночь.

— Если пришли за ней, то рановато, — сказал шаман, оборачиваясь к лодке. — Девочка потеряла себя и должна найти.

— А тебя она как нашла? — спросил Джексон.

— Это я ее нашел, спящую, у меня под забором на рассвете. Совсем, бедняжка, выбилась из сил.

Мы снова переглянулись. Инга, конечно, походила на лунатика, но чтобы лунатики были способны преодолеть город с его троллейбусами и проспектами и улечься под чьим-то забором на окраине... Такого никто из нас предположить не мог. Я ощущала, что Джексон верит своему Шувано, но не доверяет обстоятельствам. Я не верила ни во что.

— Нельзя нарушать свои границы. Я пытаюсь вернуть ее обратно, к себе самой. Садитесь к огню, ночь долгая, холодная. Возможно, наутро проснется, и отведете домой, — говорил шаман, расхаживая по комнате. Появлялся то в одном углу, то в дру-

⁶ Герой романа Габриэля Гарсия Маркеса «Любовь во время чумы».

гом, я устала за ним следить и ловила эмоции, как отблески пламени, на лице Джексона. А он уставился на огонь в камине. Опять что-то оттуда вытягивал.

— Не знаю, чем вас накормить, — бормотал Шувано. — Хлеб есть, корочки отрежу... Наверное, заплесневелый.

— ...масло, чай с можжевельником и брусничкой, с дымком, хотите?

Похоже, самой большой проблемой для него сейчас было, чем нас, свалившихся ему на голову среди ночи, накормить, а я боялась за Ингу.

— Мы не голодны, хватит и чаю, — ответил Джексон.

Шаман отправился в кухню, по пути стукнул по чему-то спрятанному в проеме стены — и оно зазвенело, пронзительно и нежно. Я вздрогнула, будто меня окликнули. Подошла ближе разглядеть, что это. Обыкновенные песочные часы.

— Если песочные часы положить набок, время не остановится и не превратится в вечность, — сказал старик-ящерица, проведя кряжистым пальцем по тонкому стеклу одного из бокалов времени.

Потом мы долго пили чай у огня. Свет потянулся ко мне, но в шаманском доме я не решилась ему довериться...

Джанет, в нашем веке

Человек не может жить без тайн. Есть мелкие тайны не для всех, а есть те, что перерастают хозяина и продолжают жить после его смерти.

Джанет понимала, что от прошлого свободны лишь те, кому нечего забывать. Маятник невозможно остановить, удержать, его нужно уничтожить. Иначе любой неожиданный толчок запустит его с новой силой, где бы она ни ложилась спать. Да и страдать бессонницей всю жизнь, работая по ночам, тоже не выход. Невыносимо жить, отвоевывая каждый свой день у ночи.

Сон и сновидение — разные вещи. Нормальные сны Джанет обычно не снились, а когда позволяла себе крепко заснуть, видела по ту сторону усталости примерно одно и то же. Черно-белые вспышки глитч-эффектов, вздрагивающее шипение, как белый шум на экране, ломкие тени по стенам. Если не получалось вытащить себя за ниточку из темноты, стены раздвигались в нескончаемые анфилады и лабиринты деревянного дома, где блуждала в потемках, всегда на ощупь, по скрипу половиц. В одном из снов после возвращения на север Джанет вдруг почувствовала, что заблудилась и не может проснуться. И тогда во сне появилась Инга и зажгла свет. Джанет обрадовалась, протянула к ней руки, хотела поговорить, обнять, но Инга молча оттолкнула ее и исчезла, оставив на столе светильник.

«Она простила тебя, — обрадовалась мама, толкая сон. — Когда мертвые обнимают, целуют или дотрагиваются до живых, значит, зовут с собой. Инга же оттолкнула тебя обратно в жизнь».

В долгих разговорах после ужина на кухне за чашкой чая с черничным вареньем мама снова и снова убеждала Джанет, что старая, забытая всеми история имеет власть над ней одной и незачем ворошить прошлое.

Но сумрачный мир снился все чаще, и раз за разом Джанет искала выход из сна, пока светильник Инги не догорел...

— Не дури мне голову! — засмеялась Алиска, разливая вино по бокалам. — Твой сумрачный мир — усвоенный с детства архетип. Мы же в школе вечно твердили наизусть: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».

Джанет решила, что если уж ее занесло в северную зиму, то встретит Новый год, как полагается: с родителями, снегом за окнами и оливье с шампанским, а на каникулах поочередно навестит лесных друзей. Вечное лето обрекало жизнь на безвременье,

а семейный — исконный — Новый год вернул календари и тиканье часов на место. И если время исцелило лесных друзей, то они, возможно, помогут ей.

«Не напрашивайся, — поморщилась Лера, записывая на листке для Джанет Алискин телефон. — У нее строгий муж, гостей в доме не любят, Алиска вообще живет при нем как домашнее животное».

«Посмотрим», — ответила ей и себе Джанет.

Алиска пригласила на семейный обед во время первого и единственного телефонного разговора, накануне Нового года. Джанет купила дорогое бордо, кило мандаринов и не уместившуюся в пакет коробку шоколадных конфет. Хотела подарить подруге мечту ее детства — живую орхидею в горшочке, но не осмелилась на столь резкое сближение восторгом общих воспоминаний.

Входной звонок затрещал модной птицей из девяностых. Алиска с трудом поместилась в проеме двери. А ее муж, Максим, как ни странно, обрадовался Джанет. Все суетился, выискивая для нее удобное местечко за столом, подкладывая лучший кусочек, пока Джанет не затошнило от необъятности съеденного. Желудок, приученный к перекусам канапе и салатами, еле усваивал и скромную родительскую кухню, а тут такие изыски: свинина под соусом, копченая баранина, мурманские осетры, маринады... Семья готовилась, стол ломился. Джанет стало неловко за неизмеримую, но одну коробку конфет: дети втроем — малыши-близнецы и старший, девятиклассник, — управились с ней за полчаса. И теперь накинудись на мандарины.

— Вот у детей Новый год действительно новый, — горько сказала Алиска, наблюдая за их суетой. — А у нас — копия предыдущего. Взросление и есть медленное погружение в сумрак несбывшихся надежд. Яркие краски детства незаметно для глаз выцветают, бледнеют, темнеют. И ты вдруг оказываешься одна и в темноте. Сумрачным миром стало бы и мое настоящее, не исполни я мечту о доме, о детях... У тебя баальный кризис среднего возраста.

— Думаешь, я, как Лера, начинаю бояться старости?

— Старости все боятся. Хоть десять детей нарожай. Взрослея, они отдаляются, старший со мной уже почти не разговаривает.

Джанет вспомнилась жуткая северная сказка из детства. Больная мать просила воды, дети не слышали. И она обернулась кукушкой, чтобы улететь к большой воде. Опомнившиеся дети бежали за ней с кувшинами воды, рая ноги об острые камни, но так и не догнали. С тех пор мох в тайге красного цвета, а кукушка подбрасывает птенцов в чужие гнезда. Но в гнезде у Алиски было тепло и тесно. Удушливо жарко. От жирной пищи хотелось пить, вино действовало умопомрачающе, но попросить воды не решилась.

— Да, пресловутый стакан воды, — сказала вслух.

— Дело не в нем. Пить-то, как в бородатом анекдоте, не захочется. Дело в невоплощенной роли, неисполненном предназначении. Нужно успеть, пока молода. Потом будет поздно. Старость отменяет пол, а человек жив либо мужчиной, либо женщиной. Поэтому стариков никто и не слушает, никому не нужна их бесполовая мудрость. Их просто терпят. Из жалости.

«Пол, половинка, — шумели у Джанет в голове слова, — исцелиться, обрести целостность, одиночки неполноценны, мир без тебя неполный, мы одно целое...»

— Личное важнее личностного! — возбужденно кричала, размахивая пустым бокалом, Алиска. — Любовь важнее славы, карьеры, познания мира, путешествий... или на что вы там с Лерой растратили счастье материнства. А я знаю, что значит быть женщиной. Я не боюсь будущего, потому что *была* настоящей!

— Кто это у нас настоящая женщина? — скептически усмехнулся Максим, вернувшись в кухню за очередной порцией водки из холодильника.

Максим позволил женщинам посплетничать на кухне, а сам ушел смотреть футбол в гостиную. Близнецы бегали по квартире, вырывая друг у друга мандарины. Старший в своей комнате бился за компом в игру-стрелялку. Взрывы и выстрелы прерывали свист футбольных болельщиков в телевизоре. Джанет почувствовала себя в дурдоме: все шумят в одном замкнутом пространстве, но каждый заперт сознанием в своем мире, — какофония мыслей и чувств, и потому слиться в симфонию единой реальности им не дано.

— Твой кошмар — в том, что ты одна. Переполнилась собой до краев, а отлить некому. Я тоже видела себя-будущую в снах в детстве. Но знаешь, будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы себя утешила, сказала бы: «Потерпи, все идет как надо», но ничего не стала бы менять. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, одно без другого не сбывается.

Алиска тараторила на коротких вздохах, точно убеждала себя, а не Джанет, и боялась недослышать. Так боятся нехватки воздуха в самолетах.

— Детям твержу: нужно уметь все вытерпеть, быть терпимыми друг к другу. А настоящая женщина, настоящий человек... живет ради близких...

От духоты и вина кухня раскачивалась перед глазами, и Джанет отчетливо услышала объявления стюардесс: «...наденьте кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка».

Кислорода в доме и правда не хватало, окна сжимали его пространство подступающей в сумерках метелью, Алиска в попытке приблизиться вытесняла в угол дородным телом истинно русского женского идеала, который «коня на скаку». Джанет все же вскочила из-за стола.

— Прости, на балкон подышать не выйти. Там свалка: велосипеды, лыжи, самокаты, ящики с гвоздями и инструментами... дверь не открывается...

Сославшись на головную боль, Джанет вызвала такси.

— Я провожу, — с готовностью предложил Максим. — В подъезде темно, не дай бог, ножку подвернет.

Алиска расцеловала Джанет на прощание, и дверь в прихожую захлопнулась.

Такси сигналило у подъезда. На лестнице было не так уж темно, снег давал мерцающий отблеск из окон. Джанет решительно шагнула вниз по ступенькам, Максим хрипло дышал позади. Вообще-то его помощь не требовалась.

На втором пролете лестничной площадки ее руку сжали в тисках, а через секунду и все тело в грубых объятиях.

— Поцелуй меня! — пьяно зашептал он ей в ухо. — Алиса сказала, ты не замужем. Чего тебе, любовников много... Ты не понимаешь, женатые ведь не целуются, я ни о чем тебя не прошу больше, только ощутить... романтику, свободную любовь, как у вас там, в европах...

Джанет ощутила бывшего мужа, чьи руки, как змеи, проникали под одежду. Вспомнила свои — в кровоподтеках, скрещенные на животе в попытке защититься. Представила себя в роли многолетней ЖДН — и задохнулась от ужаса.

А Максим притиснул ее к стене и говорил, говорил, говорил...

— Алиса, как земля, трахаемся в темноте, пашу, не глядя, бросаю в нее семя, при свете на нее и смотреть-то тошно... А ты такая тоненькая, красивая... с тобой я почувствую себя свободным... Живым! Тебе что, жалко?!

— Любовницу заведи! — прошипела, вырываясь, Джанет. И прыгнула через две ступеньки, как зверь.

«Даже Алискина простая земляная жизнь плодит тайны», — думала, сбегая по лестнице и трясущейся рукой отыскивая впотьмах кнопку домофона.

Упала на заднее сиденье такси, заплетающимся языком произнесла адрес и проплакала всю дорогу, уткнувшись лицом в стекло, чтобы водитель не заметил, не спросил, что не так.

А снег все мел и мел...

Дома без сил повалилась на диван в бывшей детской. Но забыться не удалось: за окном уже танцевал Джексон. Как в том далеком июне под тополиным пухом, прикрывая рукой промежность, словно боялся разоблачения. Он и был ее Адамом и потерянными раем, тысячеликим героем, разлитым и отраженным в солнечных мальчиках безвременья, краевым архетипом мифологии ее снов, утраченной надеждой на целостность, живым и призрачным воплощением счастья, всем, что у нее не сбылось, всем, что она упустила и теперь искала без права найти. Первая любовь — как Большой взрыв маленькой личной вселенной: после никогда не станешь прежней, отныне обречена с каждым, в ком ищешь виновного, остывать и удаляться от себя самой все дальше и дальше, пока не исчезнешь.

Романов не значился в ее списке лесных друзей, Джанет не собиралась навещать его на каникулах. Но именно Джексон ходил по луне, улыбался, звал за собой в оконную снежную тьму. В сердце тайны.

Как в приступе безумия, не чуя себя, Джанет размахнулась противоударной, «специально для дальних перелетов», сумкой от ноутбука, первым, что попало под руку у дивана, — и разбила окно.

«Ты должен был быть на моей стороне, защищать меня! А что ты сделал? Сказал: „Жанка, признайся!“ — и бросил меня, беззащитную, прямо им в пасть?! С тех пор я бегу от тебя, от всех вас, от прошлого, не останавливаясь ни на мгновение, ибо что я могла им сказать?..»

Осколки стекла беззвучно, безответно падали на диван, на пол. Когда любишь кого-то, должна бы желать ему счастья, но на самом деле хочешь, чтобы он испытал твою боль — и понял тебя безвозвратно.

В комнату неслышно вошла мама. Молча села и заплакала рядом на диване. Джанет только сейчас заметила, какая она хрупкая и несчастная, как постарела за годы разлук — и горло сдавила жалость.

Вьюга подвывала по углам. Снег сыпал и сыпал в черный проем окна. Женщины молча собирали с пола и диванного покрывала осколки.

Джанет отчетливо увидела, как ветшает их дом. Облетает лепестками цветов, плоти, пепла.

— Что-то неправильное с тобой здесь творится, дочь. Тебе, наверное, лучше уехать, — сказала наконец мама.

— Да-да, смогу сразу после Нового года. Первые деньги от заказчика получила. А окно — ерунда, вставим. Кажется, что глубокая ночь, потому что север, а на часах и семи вечера нет, сейчас позвоню, вызовем стекольщиков... и все уладим, я заплачу. Не волнуйся!

К девяти окно заменили, и в комнате воцарилось тепло. Джанет улеглась, как в детстве, — в десять. Перед тем как заснуть, вспомнила фразу Алиски: «Есть те, кто не хочет и не может взрослеть. Марат сделал Ингу женщиной, и она не выжила во взрослом теле». Иногда стоит вернуться ради одного предложения — смыслового. С Маратом Джанет в одной лодке отчаяния. Его надо бы разыскать...

Мысль ушла в сон, и Марат ей приснился, каким запомнила: юным, резким, с шарнирными движениями и ершиком под *dérêche mode*.

Проснулась внезапно среди ночи, будто кто-то смотрел и разбудил взглядом. На пороге окна стояла полная луна. Снег прекратился. Сон пропал. Джанет включила ноутбук, решив до утра работать. Чем скорее справится с заказом и уедет, тем лучше.

До Нового года осталось три дня.

Евгений Романов, в нашем веке

Новый год доктор Романов предпочел отмечать на дежурстве. Последние дни в клинике ему было спокойнее, чем в собственном доме, зажившем отдельной от него зловеще шевелящейся по углам жизнью, мороками тьмы. К тому же все равно не дадут ни отдохнуть, ни выспаться. Салюты новогодней ночи из года в год приводили к нему на порог толпы рыдающих людей с обугленными собаками на поводках, руках, носилках. И он одержимо колотл обезболивающее, промывал лекарствами ослепшие от взрыва глаза, зашивал разорванные хлопучками пасти всю ночь и несколько суток после. А сколько приводили потеряшек! Уже в период репетиции фейерверков вся стена в холле ветеринарной клиники, входные двери и столбы во дворе у подъезда стык в стык покрыты разноцветными бумажными криками хозяйских душ: «ПОМОГИТЕ НАЙТИ!» И ему при взгляде на них вспоминается лето накануне совершеннолетия, когда весь город стал прототипом его сегодняшней жизни, оклеенной плакатами с портретами пропавших без вести. Люди ведь тоже теряются и смотрят с фотографии тебе в глаза, будто из заповедья, как если бы давно знали и ждали каждый своего поезда в никуда, сидя на краешке вокзальной скамейки между мирами. Ясным утром вышел из дома и не вернулся...

Евгений знал, что ни самоубийц, ни пропавших без вести не существует. Никто добровольно не расстается ни с телом, даже больным, ни с домом, даже покинутым всеми. Надежда, никогда не умирающая надежда на возвращение к истоку, когда «все еще было хорошо», на исцеление — наш инстинкт самосохранения. И если вдруг природа дает сбой, то не в нас. Их всех просто уводят. Кто и куда? Вряд ли там светит солнце.

Тешил себя, воображая, что Жанка, тогда, на рассвете, когда проснулся один и с тех пор одиночество его не покидало, как ее еле уловимое тепло и запах сквозь сон на подушке, отправилась на их поиски. Одинокий спасатель. Но искать она начала себя. Нашла ли?

Троих питерцев, пропавших в то лето, нашли другие посреди дороги в невменяемом состоянии. Зарецкие говорили: нарушили территорию местных духов сейдоозера, и те заманили их в лес навсегда. Евгений предпочитал рассуждать научно: энергетика старейшего вулкана Земли, где любой компас теряет север. Постаревшие дети годами ищут выход из леса, шагая взад-вперед по двору местной психушки в пригородном поселке Летное. Последователей у них немало, каждый год кто-то теряется, в городе их так и называют: улетные.

А Жанка улетела не за ними, а от них, от Джексона, от всего их провинциального Твин Пикса. Бежала, спасая себя. Этот ее вечный протест против «живи как все, будь послушной!». Никогда никого не слушала, даже его. В армии, на чеченской войне, спасая неразумных детей черномазых от «наших», Романов усвоил, что, преступая грань — смерти или закона, — обретаешь внутреннюю свободу, трансцендентное надобщинное подлинное «я», которое никто никогда уже не сотрет и не отнимет. Обретаешь бесстрашие решать свою судьбу самостоятельно — от слова «самосуд», что значит стать единственным судьей для себя, ибо других больше нет: ты преодолел и оставил позади на горном перевале всех. После точки невозврата человек не падает — он летит, а вниз или вверх, какая разница, если вселенная не имеет ни неба, ни дна и сама разлетается в разные стороны? Он чуял и в том далеком рассвете, и в недавнем троллейбусе, что Жанка обрела свободу дикого зверя. Как царь зверей, доктор Романов не проводил черту между животным и человеком. О чем мечтает кошка? О собственном доме. А собака? О любви к своему человеку. Базовые ценности всего живого. А дикие звери о чем? О собственной — неприкосновенной — территории.

И Жанка создала новый мир, запечатанный по личным законам, куда никому из посторонних никакая ее вина не откроет двери. С годами Евгений начал понимать, что люди расстаются из-за правды, которая с течением жизни меняется, то есть не существует вовсе. Но его интересовало только одно: что за всем этим стоит? В чем смысл перемен — в бесконечном падении в бездну? Когда не за что ухватиться и остается только визжать от восторга, обмирая от страха? Страх притягателен краем, как секс сердцевинной бытия.

Он не рад был родиться цыганом в исконно северной культуре, не хотел оставаться нулем в замкнутом городке. Стремился стать единицей. И у него получилось. «Доктор Романов — единственный ветврач в городе, который может...» Да, он может. Но на вершине царства хоть людей, хоть зверей ты всегда один. И одиночество означает не избранничество, а исключительность. Люди вокруг выбирают друг друга, но не тебя. Ты никому не пара. Евгений впервые задумался, что все его попытки исцелиться после Жанки были похожи на хаотично разбросанные по холмам темного времени огни в чужих окнах, не связанные ни маршрутом судьбы, ни сюжетной линией.

«Игра называется: стань своим!» — сказала Жанка и обучила его вариантам правил. Жесткому, как в покер, где отказываться было нельзя, а проигравший исполнял желание — любое, бросая карты на стол рубашкой вверх и сполна оплачивая счета. И целомудренному, как в шахматы, когда чужая боль брала под уздцы и удерживала скачущего слишком прямыми углами вопросов коня со словами: «Притормози, так нечестно!» Как желания в дупло дерева, они шептали друг другу в ухо истории, которые больше никому и никогда не расскажешь. Самое сокровенное. Страшное. Постыдное. Заветное. Исподнее. Нутро. Все, что было в юном неопытном запасе. Тогда она и рассказала ему о звездных качелях во дворе с утратившей надежду собою взрослой и о том, что все книги жизни имеют одно название: «Мечты не сбываются», и потому иное никто не прочтет, но можно заглянуть в библиотеку возможностей царства несбыточного, чтобы зря не надеяться.

Джексон испугался безнадеги. Возвращался от Жанки ранним утром, ранней весной; утаила его от родителей на ночь, как заветное, но тогда, пока «все было хорошо и все еще живы», не осмелилась взять. Троллейбусы до шести не ходили, шагал через весь город один в пустоте гулких улиц, содрогаясь на каждом шагу по брусчатке от режущей боли невоплощенного желания. Будто все клетки организма разом решили отрезать себя от него, отделиться во что бы то ни стало, разодрать его тело на части. С Жанкой он понял буквальный смысл фразы «умирать от любви», как маленькая вселенная после большого взрыва, с тех пор превращающаяся в звездную пыль на зеркалах и окнах — везде, к чему бы ни прикоснулась и где бы ни отразилась.

Как такое мощное чувство могло исчезнуть, раствориться со временем? Если мы на уровне микрокосма воплощаем все физические законы, что-то должно остаться по закону сохранения энергии, иначе куда тогда денется настоящая общая наша Вселенная в конце пути? И если он прав — должно, то где? И как теперь вытянуть этот мир обратно? Мир его прошлого — из огня в камине. Вытянуть и исправить, раз и навсегда, улегшись спать головой на север, а наутро проснуться наконец в тепле недогоревшего, ощутив ее запах и вкус наяву?

Романов медленно брел домой отоспаться перед новогодним дежурством. Улица детства менялась вместе с городом. Сегодняшняя Зарека — престижный коттеджный поселок с ровными ромбами скандинавских лужаек, летом изумрудно-зелеными, сейчас белоснежными, украшенными по случаю гирляндами и Санта-Клаусами. Но видел он ее прошлое: покосившиеся деревянные домики проступали сквозь дизайнерскую каменную кладку и сайдинг, как призраки умерших в полночной амальгаме старого зеркала. В окнах горели не тусклые чадающие свечи, а яркий театральный свет рамп

чужого успеха; если какое из окон было покинуто и темно, в нем отражались соседские огни призывом в лучшие времена.

На секунду застыл у окна, разглядывая ужинавших за ним людей. Мать раскладывала по тарелкам мужа, сына и трех дочерей что-то вкусное и дымящееся. Как призрак его семьи. Жаль, что они так далеко! Мама умела не только увидеть, но и исправить прошлое в судьбоносной точке межсвечной улицы.

— Как и где хранятся наши слова, прикосновения, взгляды, отпечатки поступков? — спросил он, погружаясь в коридор света.

— Мир состоит из зеркал, природных, как вода или огонь, и искусственных, размноженных человеком. И все они считывают брызги и отблески жизни и прячут отражения в некую книгу временных лет, будто собирают фрагменты мозаики, пишут картину вселенского масштаба, где есть каждый из нас.

— И как туда попасть, в эту книгу-картину?

— Смотря зачем...

— Исправить прошлое!

— Прошлое произошло. Саму исторически сложившуюся ситуацию не удалить из пространства времени, но можно изменить ее образ в памяти — отношение к ней. И тогда изменится будущее.

— Как?

— Прошлое существует всегда, в момент настоящего ты зависишь в своем выборе от того, правильного или неправильного, решения и повторяешь или, наоборот, отвергаешь его, сворачивая на нужном перекрестке судьбы или пролагая новую тропинку. В коридоре свечей в зеркалах я вижу прошлое человека, но его будущее мне недоступно, оно — чистая энергия и принимает форму в момент достижения настоящего. Я не вижу, что будет, но могу предвидеть мотивы того, что произойдет, — *предсказать*, посоветовать, подталкивая в нужное русло, направляя мысли, слова, действия. Будущее существует как потенциал, а точка его воплощения — в человеке, время заключено и свершается в нем самом, и потому его можно исправить...

— Откуда ты знаешь, что правильно, а что нет?

— Я наблюдаю. Люди отражаются друг в друге.

Романов за годы врачебной практики наблюдал многих: в зверях видел отражение хозяев. Через них познавал людей: плачущих и радующихся, как над детьми. Иногда выходил из клиники исцеленный и исцарапанный, а в глазах хозяев сквозило недоверие. Но чаще вера возвращала его пациентов к жизни даже из небытия. И в кольцах сплетенных над питомцами рук он ощущал это загадочное вторжение в мир физической материи, что обещало быть нашим неповторимым и непредсказуемым приключением, но не сбылось. Жизнь мохнатых и людей протекала перед глазами, как бесконечный кинофильм, и Евгений понимал, что мы все одинаковы и всё, чем будем обладать к концу пути, — череда превращений, через которые прошли все живые существа во всех уголках мира во все времена. И все мы похожи на падающие снежинки: каким бы уникальным ни был узор, в основе его — пресная вода. Романов, как врач, привык к стандартным действиям для всего живого: зашил, перевязал — и смирился с происходящим и преходящим. Научился залечивать раны свои и чужие — и идти наперекор судьбе дальше.

Но судьба упрямее человека: зеркала времени не зашьешь, не замажешь и не перевяжешь. Поэтому ему так страшно возвращаться домой одному. Зеркала — живые, как память, и они ждут... Ответа на вопрос, почему вовремя не исправил прошлое, почему не смог никому помочь?

Потоптался у калитки, с трудом подняв взгляд на свое окно. Не сразу сообразил, что оно зияет чернотой пустоты, без всполохов отражений света из чужих окон. Не

сразу понял, что окно разбито, но почувствовал кем. Любовь — это связь, когда чувствуешь, что своему человеку плохо, сквозь часовые пояса и километры, а уж если она рядом и ходит по тем же улицам, то тем более. Синхронные мысли возвращают чувства.

**Из дневника Жанки, на грани столетий
(записка желаний,
из тех, что сжигают, а пепел мешают
с шампанским и выпивают в новогоднюю ночь)**

«Я мечтаю о книге, которая убедит меня в том, что смерти нет, мечты сбываются, а любовь не проходит. И мы, держась за руки, вошли бы в нее под бой курантов, как в зеркало. И стали там жить. Вечно и счастливо».

ГЛАВА 3. ИНТЕРЛЮДИЯ

«Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей...» — пел парнишка с шапкой-ушанкой у ног, притулившись к вокзальной стене.

Что заставляет их голосить днями напролет в двадцатиградусный мороз до хрипоты, перебирая острые струны посиневшими пальцами в обрезанных перчатках? Если песни не своего сочинения, а выученные по образу и подобию с телеэкрана?

Люди выходили из здания вокзала, отстояв длинную очередь в кассу в другой мир. Кто-то радостно покупал билеты, кто-то в отчаянии сдавал. От перемены мест слагаемых сумма в мире не меняется. Везде подают больше молчаливым и покорным судьбе нищим, чем шумным и непонятно на что надеющимся музыкантам.

Может, поэтому они и поют чужие песни чужими голосами? Пой они свои, ушанки и вовсе бы пуствовали.

Джанет, в нашем веке

«Новый год не сбывается», — вспомнила Джанет слова Леры, меняя билеты на позднюю дату. Решила дождаться или разыскать Марата. Друга детства, чьи шальные желания заставили их всех повзрослеть всего за год. Когда половина жизни прожита, год ощущается мгновением. Никто из лесных друзей не был готов, летели как в пропасть. И кто-то пропал без вести, а кто-то остался на берегу и выживает, как умеет. И надо понять как. Как им всем это удается?! В относительном благополучии и здравом уме, не стирая себя бессонницей аэропортов с отложенными рейсами?

Джанет сумела распознать в судьбах подруг свои непрожитые пути — те, что пришлось избежать. Она могла бы сделать карьеру, как Лера, если бы не узнала еще на школьной олимпиаде, что успеха никогда не бывает достаточно, а медали не делают из чистого золота. Каждая ступенька лестницы успеха открывает следующую, пока не поймешь наконец, что лестница изначально была приставлена не к той крыше, и остается лезть выше и вымученно улыбаться, рассказывая, что над всеми крышами небо одинаковое.

Джанет могла бы иметь семью, как Алиска, если бы Джексон, как все мужья, предавал бы ее по частям, а не сразу и бесповоротно. Если бы сама не предчувствовала гибель в нем — единственном и бесконечно чужом. «Потому что так правильно!» — заявил Романов, выбрав город вместо нее. С тех пор Жанка жила вне закона, не соблюдая ничьих правил, кроме своего: «не оглядываться», бессознательно выбирая

парней с похожей внешностью. Что скрывалось на дне этих черных глаз? Ей казалось, там отражается все на свете и невозможно оторваться, как от заколдованного зеркала предсказаний. Расставаясь с другими, всякий раз переживала одно и то же прощание на рассвете; тоскуя по копии, возвращалась к оригиналу. Вот она, тайна набоковской Лолиты. Не испившие первой любви до дна будут искать иных ее воплощений, как правило, в тех, кто моложе и не способен понять... Так жаждут вернуться к истокам, так ищут потерянный рай, зная, что рай либо умер, либо изменился до неузнаваемости и существует лишь в грезящей памяти.

Она не смогла бы сама сесть в поезд и помахать ему рукой на прощание, если бы не Алискино «несчастье помогло» не вышвырнуло вон из города. Осталась бы навсегда. И утратила бы себя, с детства провожающую поезд на вокзале. Поезд был крылатой мечтой, а небо стояло. Годы и годы в их провинциальном городке ничего не меняются. Поезда гудят, зовут вдаль, а небо над северной землей — молчаливый голубой кристалл с мраморными прожилками облаков. Небо в камне, где и при сильном ветре облака стоят над горизонтом, как ангелы над душой, не нашедшей предназначения. Чтобы чувствовать себя живой, Джанет требовался высокий градус бытия, на грани выживания, а здесь повсюду был лед. Замораживает рутину повседневности, и человек превращается в раба обстоятельств. Джанет привыкла менять обстановку и смотрела на стремительно уменьшающийся в размерах и удаляющийся в прошлое родной город, как с высоты полета, испытывая благодарность за то, что никогда сюда не вернется. А страх возвращения, страх быть похороненной заживо бежал за ней по солнечным улицам незнакомых городов преданной собакой. Джанет полюбила неспящие города: Москва, Париж, Тель-Авив, Барселона... В маленьких сонных городках выживают большие тайны, а где не спят, тайнам спрятаться негде: на них там не обращают внимания.

«У тебя все впереди, не бойся жить!» — утешала по телефону мама блудную дочь после очередной дороги в никуда. В последнее время Джанет все чаще их выбирала, накапливая обманы, обиды, разочарования. «Будь собой!» — убеждали спутники. Но возможно ли быть собой, если себя нет? Лера в буквальном смысле стала адвокатом и на вопрос «Кто ты?» не ответит, что женщина или попросту человек, а назовет профессию. Алиска растворилась в муже и детях. Обоих не существует. Но что останется от человека, если вычесть из него личную историю, социальную роль, предназначение? Сегодняшний шаг? Путь вперед? Попытка догнать горизонт? Невозможность берега?

Джанет чувствовала, что ей предназначены долгие дни в пути, где прошлое оживает в каждом шаге. Есть вещи, которые не вычеркнуть из памяти. Разве что сделать лоботомию. Где-то прочла, что во время лоботомии люди видят, как расцветает белый прекрасный цветок, и это дает ощущение невыразимого покоя и счастья. Раньше Джанет, как щит, спасали новые впечатления, необходимость выживать, цепляться за чужую почву, а сейчас она ощутила себя перекасти-полем в арктической пустыне. Джанет тщетно искала точку опоры, но она, как и север, была внутри. Раньше Джанет владело желание ускользнуть от чувства вины, а безопасность гарантировало отсутствие личности. Незнакомые люди, знающие каждый соответствующую ее грань, никогда не встретятся и не сложат мозаику, что обещало могущество стать кем угодно, проживая разные жизни в бесчисленных перевоплощениях в течение одной — буддисты бы позавидовали.

Но здесь и сейчас, на вокзале, глядя на сансару встречающих и провожающих, Джанет отчаянно захотелось встать с ними рядом, проявиться в их мире прощений-прощаний. В этом мире существовал сюжет: они играли роли, исполняли предназначение, понимали смысл происходящего как нечто незыблемое и непрерывное.

Свою жизнь Джанет воспринимала фрагментарно: посты в ленте соцсетей, набор открыток из противоположных частей света, где ее уже нет для адресата, сновидческих вспышек прошлого. А они протягивали друг другу жизнь, как раскрытые ладони, предъявляли, как газетные вырезки.

Вырезка... Это опасное слово вырезало из жизни города и ее. Рассылая первые стихи по газетам, мечтала, что заметят и как будет вырезать и хранить эти заметки с теплыми словами о ее словах. Но заголовки газет обвиняли в преступном молчании.

Жанка единственная вернулась из похода на сейды. Ей повезло, сразу вышла на трассу, остальных поглотили леса: кто-то физически пропал без вести, а кто-то не смог выйти из сумрачного мира своих снов и угодил в психиатрическую клинику пригородного поселка Летное. Оба случая мгновенно связали между собой, ее начали «приглашать на доверительные беседы» — таскать на допросы через день.

А Джексон собрался в армию, весенним призывом, в конце мая. Жанка верила, что мужчина должен защищать женщину с любимым лицом, близкую, теплую, рядом, но он вдруг решил защищать безликую враждебную родину. А она навещала тех, в поселке Летное. Зеленый солнечный лес, птицы поют, ровненькие дорожки, белки попрошайничают у скамеек. Идеальная гармония. Но зелень листвы скрывает ржавые решетки заборов. Не дай бог остаться хоть на минуту дольше — не вырвешься никогда. Скорей в автобус — и домой, закрыть двери и окна!

В ту весну и Жанкины родители испытали чувство самосохранения — послали ее подальше, в Кронштадт к папиным родственникам. И поступила туда, куда и хотела, за неимением времени на подготовку и выбор, — на филфак. И пока все готовились к выпускному балу, Жанка паковала вещи в дорогу.

Под стук колес, вжимаясь виском в вагонное окно, безучастно смотрела, как удаляется город, синее у горизонта озеро, мелькают мимо северные леса: сосны, елки, розовая дымка иван-чая галлюцинацией над полями на грани болот. Видела даже аиста, сидящего на железнодорожном щите. И не видела. Это сейчас Джанет вспоминала его как не принадлежащее северу чудо, а тогда все чудеса предвещали несчастье. Перед глазами будто бы навсегда опустили шторы с фотообоями: утро в палатке у озера, солнечные теплые блики гуляли по гладкой, как стекло, смуглой коже сладко спящего рядом, рассыпаясь и преломляясь на тысячи радужных отражений, и казалось, он — само солнце. Проснется, взойдет — и подарит ей новый день, новую жизнь, отведет рукой-лучом все кошмары. Но проснулась она одна, а разбудить Джексона не решилась. В поезде мысленно сжигала этот кадр в памяти, но он упорно возрождался перед глазами фениксом. И только время, терпеливое время, медленно, час от часу, день за днем, шаг за шагом, за поворотом — дорога обесцветила образ, превратив жизнь в нескончаемое сегодня...

...Сегодня вокруг суетились люди. Суета на первый взгляд не имеет смысла, а на второй и третий заражает энергичностью, втягивает, поглощает. Являясь чистой энергией, ничто мимолетное и случайное: сказанное, сделанное, даже вымышленное, скрытое или позабытое — не исчезает бесследно, подчиняясь закону ее сохранения. В этом смысл вращения колеса жизни.

Не решившись когда-то заговорить, Жанка пробовала доверить жизнь бумаге. Но разборы письменных произведений в институте — и художественных, и документальных — неумолимо влекли к основе основ — сопричастности. Героя можно было понять, и потому он на время чтения становился тобой, рождал в душе сочувствие. Лучшая книга рассказывает тебе то, что ты давно знаешь, говорит не с тобой — о тебе. Великие авторы открывали читателю жизнь в другом обществе другой эпохи, но полную тех же сомнений, разочарований, восторгов, любви, печали или ненависти.

«Так далеко, но как близко!»

«Герою соперничают, потому что у него есть цель, созвучная твоей».

«Биографию нужно писать последовательно, а в рукописи должен быть сюжет».

Жанке хотелось писать правду, но правду должны увидеть, чтобы понять. Может быть, где-то в тайнике энергии и хранились кадры темных коридоров и запутанных лестниц, чужих и пустых комнат, сумрачных тропинок сквозь сырой лес, откуда люди не возвращаются прежними.

«За что это с нами сделали?»

«Зачем вы туда пошли?»

«Ты сам согласился. По глупости».

«Сама виновата».

У каждого из нас есть тайны. Тайны обратной стороны времени. О них не принято говорить, тем более писать книги: унижения не возвышают. Одни люди доверяют, пытаясь спастись от одиночества, а другие их глупость используют. Обман — невидимое насилие над душой. Но хуже всего то, что все заранее все знают, их предупреждали тысячи раз, но они все равно пошли, думая, что с ними будет иначе. Темные комнаты и сумрачные тропинки полны народу. В таких комнатах не поднимают друг на друга глаз, по тропинкам бродят молча. Делают вид, что не видят, не слышат. Притворяются, что их нет. Невидимое невыразимо, для него не существует слов, потому что найти слова — значит понять. Увидеть. И дать увидеть другим, которые сочтут это глупостью. Если писать о невидимом глупо, то о видимом вообще бессмысленно — без тебя расскажут. Если талант — это правда души, значит, не каждой позволено говорить.

«Человек ли я, если никто не способен меня понять?» — спрашивала Жанка себя в такие дни. С такими вопросами обучение в институте теряло смысл. Ни о литературной, ни о преподавательской стезе мечтать не приходилось. Взросление — это расчехление детских представлений о себе и мире вокруг, но редкая бабочка вылетает из кокона. Джанет не ощутила крыльев за спиной, напротив, ее начал терзать страх высоты.

В институтские дни познакомилась с группой невских поэтов. Один из них сказал в утешение: «Нет ни сюжета, ни смысла. Но жизнь — прекрасна! Лучше забей на все и езжай к морю».

Она так и поступила, провела первое лето на море — в Крыму. А потом в жизнь ворвался Интернет, Крыма вдруг стало ничтожно мало, и Жанка рванула в Москву. После неудачного замужества от безысходности начала «серфить» и многому научилась, нашла себе новое определение — «фрилансер» — и превратилась в Джанет, повесив в анкете вместо фото аватарку ящерицы, отбросившей прошлое-хвост. И предпочитала быть сверху, диктуя свои условия выживания тем, кто неопытнее и моложе.

С берегов морей и из столиц писала открытки:

«Барселона — кружащийся город платановых аллей. Полюбила платаны, в народе их называют бесстыдницами: постоянно обновляются, скидывая кору, как одежду, за слоем слой. Светлые стволы и листья, а над кронами стайками носятся зеленые попугаи. Райский сад, если бы не кошмарные сны Гауди, похожие на мои...»

«В Иерусалим уехала из Тель-Авива, забыв в апартаментах телефон. Несколько дней никто не знал, где я. Существовала человеком-невидимкой. Звездные ночи под кустами гибискуса, как в царстве сна, наверное, это и есть прикосновение к таинству бытия, когда ощущаешь себя никем в нигде, в потоке жизни. Счастье жить инкогнито, выход из-под контроля. Нормальное большинство так и предпочитает жить: незаметно, чтобы не приходилось оправдывать каждый шаг, чувство, действие. Но куда девать их жажду самореализации, внимания к своей персоне, признания, востребованности? Может, ищем среди многих безликих близких по духу, кто примет и полюбит такой, как есть, без осуждений и исправлений? Просеиваем популярность, отделяем зерна от плевел. Но те, кто пришел, вряд ли останется рядом, и путь продолжается.»

В Иерусалиме я поняла, что такое метель времени: все святые следы вытоптаны, не чувствуется энергетика древности, священных мест. Город-базар, на Via Dolorosa торгуют женскими лифчиками. Но в храме Гроба Господня мне явили чудо. „Не ищите живого среди мертвых. Он воскрес“, — написано на гробнице. Инстинктивно подняла голову и под куполом храма, в солнечном круге, куда улетает душа, увидела парящего голубя. Святой дух? Вряд ли живые голуби, что им есть внутри? Остается верить, что сама пока не мертва».

«Пустили пожить в студию в Зачатьевском переулке. Вокруг — звезды телеэкрана и знаменитости. Но вчера повстречала первую женщину, которую не узнала в лицо. Вела на поводке дымчатого веймаранера к набережной Москвы-реки. Если бы пес был лайкой, я бы стала ею».

«Как бы тебе ни было плохо, мир вокруг равнодушно-прекрасен. И если поймешь внутренним зеркалом солнечный зайчик его бесконечного лета, то аура счастья не уберезет от всех бед, но поможет их пережить. Даже горькими днями бывает сладко от красоты у моря или среди деревьев».

...Фрагменты, разбросанные во времени. Бессюжетье дорог опутывало Джанет, как бабочку, и паутина с годами затвердела в непробиваемое стекло безопасного иллюминатора над пропастью небес. В самолетах не летают, в них спят, ощущая усталость, но не ветер.

Спящие за окнами городских домов ее детства по пути остановок троллейбуса, где ютились, гнездились, вились и ветвились другие судьбы, не смогли бы разобрать в ее открытках ни слова.

Джанет чувствовала, что в открытках прошлого содержится открытие ее настоящего, как в вопросах — ответы. И сейчас ей захотелось отправить сразу две. С одним из адресатов столкнулась в подъезде нос к носу. Сначала люди приходят в твой сон, а потом поднимаются по лестнице в твою жизнь.

Из дневника Жанки, на грани столетий

— Пожалуйста, не уходи! — попросил Марат. — Я боюсь оставаться один.

С ним и правда творилось что-то странное. И я осталась.

Все началось с новогодней ночи. Встречали каждый с родителями, а после двенадцати собрались всей пещерой на набережной. Озеро после декабрьского шторма застыло изгибами льда, как замороженными морскими волнами.

Я подумала тогда: море — вечность. И мы сами — тоже море, оно у нас в крови: приливы, отливы. Волны всегда возвращаются на берег другими и все теми же. Похоже на жизнь поколений в роду. Рождение в глубине, смерть, когда разбиваются о берег, и бессмертие в новой волне. И еще о том, что сама никогда не была на море. «Все живое вышло из мирового океана», — твердят в школе. Получается, на берегу смотришь в вечность. Настоящая, солнечная и соленая, она переменчивая, а нашу, северную, заморозили вдали от мира, и нас вместе с ней бросили погибать во тьме. Разглядев себя в застывшей во льду волне, ясно ощутила, что не дочь своих родителей, а какое-то иное существо, пришедшее в этот мир через них, но не являющееся их продолжением. И такая тоска накатила!

Но потом мы зажгли костер. У огня стало тепло вместе, все шутили, смеялись...

А после каждый вспоминал тень. Никто не знал этого человека, сначала думали, что на тусовку его пригласил кто-то из нас, но не знали, кто именно, а потом видели только друг друга. За всю ночь я так и не взяла Джексона за руку, хотя, казалось, он был повсюду: подливал вино, подбрасывал ветки в костер, запускал салюты. Знакомого незнакомца видели все, но никто не приглашал и не мог вспомнить, как он (или

она) выглядит. Пьяных не было, мне родители налили под бой курантов первый «официальный» бокал шампанского, до этого пробовала украдкой. Ребята надеялись выпить за новый год у костра, но вторая бутылка вина так и осталась непечатой. Кто-то увидел своего двойника напротив и в ужасе вскочил на ноги. Мы вдруг поняли: каждый из нас говорил с тем, кого знал, тень принимала облик любого из нас. Пришла за кем-то одним, а потом поочередно отразила и подменила всех.

После при встречах отводили глаза, существование сумрака отрицалось, и высмеивалось его обсуждение. Никто ничего не видел, кроме ночи и разбросанных углей костра. Никому не хотелось выглядеть сумасшедшим в глазах друзей, никто никого не поддерживал, разбежались в разные стороны — и все.

— Родители уехали на Рождество кататься на лыжах. Я уже взрослый, могу сам о себе позаботиться, — сказал Марат.

Я огляделась. Марат заклеил окна квартиры непроницаемой пленкой, а дверные щели и «глазок» входной кое-как залепил пластырной лентой.

— Но недолго, они проходят сквозь стены, просочатся куда угодно.

Я бы посмеялась: псих в апокалипсическом бункере. Но у самой внутри гнездились жуткое ощущение, что за мной постоянно наблюдают, и если зазеваюсь — схватят, утащат на дно кошмарных видений, от которых не сможешь проснуться, они — грань между мирами, их не отогнать, как сон. После одной тени у костра в сны постучались многие. Единственным действующим средством борьбы с ними было жить в движении и ни в коем случае не оставаться одной.

А Джексон исчез. Возвращалась на Зареку. Встретила на ледяной дорожке его маму. «Еще рано, — сказала Раина. — Он ответит, поможет, но время пока не пришло».

Не поняв ее слов, молча кивнула и пошла обратно, к остановке троллейбуса, чтобы ехать домой. Замерзла, ожидая. Мне не нужна была его помощь, просто обнять. Как мы всегда обнимались, когда не могли демонстрировать свои чувства открыто: делая вид, что он поддерживает меня, чтобы не упала, а я со всей страстью и радостью хваталась за него, как утопающая. В эти дни вспоминала наш сговор не рассказывать Инге о том, что провели вечер у шамана и видели ее спящей. Мне было легче молчать обо всем, в молчании странное видение Инги в лодке, слова шамана о чужих тайнах, как об оживших мертвецах, казались кошмарным сном, который не сбудется, если не говорить о нем никому. Я не спрашивала Ингу, как она вернулась домой. Я не рассказала ничего Марату и так и не узнала, что между ними произошло и что значат слова шамана «потеряла себя». На Новый год Ингу отпустили с нами благодаря моей маме: поговорила с ее, сказала, мы молоды, встречаемся, взрослеем, надо давать больше свободы дочери.

Джексона не было нигде. А у Марата в окне тускло мерцал свет. Увидела почему, когда впустил меня: из-за пленки на окнах, а может, из-за того, что вместо электрического света он жег свечи.

— Зачем свечи? Зажги электрический свет, он освещает комнату ровно, а огонь отбрасывает тени на стены.

— Электрический свет искусственный, а огонь лишает их силы.

До утра жгли свечи и молча слушали музыку.

На листке, вырванном Маратом из школьного дневника, написались стихи:

...а над городом сонным плыла луна,
на порогах окон стояла, грустна, бледна,
а за окнами переплетались тела,
бесконечно чужие друг другу в пространстве сна.

Мы так и не заснули в ту ночь. Позже я сказала Инге, что между нами ничего не было. Она не поверила.

Евгений Романов, в нашем веке

Жизнь зачастую состоит не из того, что случилось, а как раз из того, что не случилось. Романов жил в мечте. Несбывшееся всегда сильнее действительного, потому что живет вне времени и не уходит, как прожитые дни. Евгений боялся, что прошлое чувствует острее настоящего, потому что обещал, но не смог забыть.

— Ты украл и потерял большее — покой. Забудешь, все вернется на круги своя.

В те далекие дни на излете зимы ему казалось, что Джексон должен всех спасти...

— Спаси себя, остальные последуют за тобой.

...должен бороться с тьмой, но не знал как и просил о помощи.

— Не с кем бороться, врага не существует, — сказал Шувано. — Просто прими зверя внутри, доверься ему, позволь делать что хочет. Услышь его зов — и он выведет тебя из самых гиблых мест, поможет выжить.

Он верил наставнику. Зверь внутри молчал, и потому он дал слово не вмешиваться. Шаманы никого не спасают, их путь — срединный, между мирами, они хранят равновесие. Кто должен уйти — уйдет, они не станут мешать, кому рано — удержат на краю.

В каком-то смысле она тоже выбрала третий путь — между мирами, где времена сосуществуют, отрицая само понятие времени, и переходный период затянулся на годы. Путь по межлюдью: не рядом с людьми, а сквозь них, как сквозь чашу сумрачного леса. Возможно, всю жизнь так и простоит в темноте под чужими окнами, чтобы никогда не зажечь свет в своем, потому что межлюдье лишает и дома.

В детстве мы все подглядываем в чужие окна и строим жизнь, вдохновляясь примерами живущих за нами в ореоле света. Тех, кто у нас перед глазами, тех, кого хорошо знаем. Мы хотим быть похожими на них или, наоборот, отвергаем убожество интерьера их судеб. С годами познаний горизонты расширяются, дома растут, окна меняются, и вдруг с отчаянием осознаешь, что живешь в чужой мечте, как в съемной квартире. А чего хотел сам — так и осталось непостижимой загадкой. Разгадай ее — и получишь себя у судьбы обратно. Если не боишься подобных встреч. В противном случае ты не ты, а череда даже не самостей, а перевоплощений чьих-то желаний и ожиданий. Да, думал Романов, любому из нас стоит ответить на два главных вопроса. Чего ты хочешь на самом деле? После множества впитанных в себя или исторгнутых чужих окон. И что ты боишься потерять или хуже — обрести? Когда жертвы вроде ясны, а приобретения могут сыграть с тобой злую шутку, обернувшись сокровенной мечтой, как в тайной комнате Сталкера.

Человек может существовать в обществе либо сливаясь с людьми, стремясь к идентичности с ними, либо вычитая себя из окружающих, пока не встретит себя настоящего в облике исконного зверя, как прочил Шувано. Жанка жила протестом: «Что угодно, но не так, как они» — и не смогла проникнуть в тайну иного, судя по тому, что вернулась искать. До невстречи с ней на остановке троллейбуса Романов был уверен, что нашел предназначение и занимает свое место в городе. Сжившись с состоянием изгоя, он перестал быть здесь чужим. Отказавшись от близости с отдельными людьми, получил уважение многих. Жил чужой жизнью, исполняя чужие желания, будто искал искупления, пока не понял, что отшельничество вовсе не подвиг, а благо. Людей вокруг ощущал глухой стеной, отделяющей его от мира, плотной заслонкой от собственной души. Пустые обыденные разговоры мешали думать, чувствовать, вспоминать... И как отшельники выбирают бога, он рано или поздно должен был выработать свою связь с миром как истинное счастье быть наедине с собой.

«В книгах люди встречали людей, которые становились для них маяками, а в жизни я встречала только стену, которой нужно противостоять», — сказала Жанка ему в ночь на озере. Ее мир тоже был полон стен. Или зеркал? Твердят же со всех сторон: каждый человек — зеркало для другого, в одиночестве нас нет, без отражения в мире мы исчезаем, мы не что иное, как образ в глазах других, и лучше бы он был положительным. Жанке проще было на всех положить, нежели соответствовать отражению. Но человек не может быть один, должен прийти кто-то, такой же сумасшедший, для всех потерянный.

«Как я? Поэтому она меня любила?» — спрашивал себя Евгений.

«Окрай небес звезда Омега», — читала ему стихи Блока в ту ночь. Омегу не нашли в небе над озером, но оба чувствовали ее внутри — звезду пророков и изгоев, звезду иных. Оба стремились пролагать каждый свой путь по краю: «Легче всего быть первым там, где никого нет. Труднее всего быть первым, когда один».

Взрослея, он переосмыслил прошлое, но не смог ни исторгнуть его, как Жанка, ни исправить или принять, как мать.

Не честнее ли было бороться и погибнуть? Мы способны выдержать все, если знаем, что этому наступит конец. А несбыточное — бесконечно, непреходящий кризис неопределенного возраста.

Больше всего на свете человек ждет (и боится) встречи с самим собой. Романов улыбнулся этой внезапной мысли — и, зашторив окна, погасил в комнате свет. Простое решение, но как долго к нему нужно было идти! Годами, жизнями, собой, другими людьми. А всего-навсего требовалось — остаться одному в полной темноте, не бежать от тени, а впустить ее внутрь, позволить ей стать частью себя.

Впитывал в себя незнакомое (или исторгнутое, забытое?) ощущение растворения в невесомости. В глазах черно, и по поверхности ночного озера пляшут искорки света. Вспомнил, как Жанка на другом берегу зажигает светильник: дорожка бежит по волнам к нему, и ее волосы в проеме окна вспыхивают разноцветьем в ореоле света.

Джанет, в нашем веке

Повстречав во дворе эту девочку в белой куртке, Джанет не смогла удержаться, чтобы не пойти за ней. Девочка несла перед собой на вытянутых руках айфон, как волшебный фонарь, и луч чарующей музыки освещал улицу. Джанет привыкла относиться к музыке как к мусору, который выкидывают из окон домов и машин; пытаются заявить о себе нестерпимой громкостью, перекричав других; заглушают ею тишину, чтобы не остаться наедине с собой, не услышать голос души. Но девочка была поглощена собой, растворившейся в звуке, шла по улице как бы вне мира, несла свою мелодию света как последнюю обитель красоты.

Прохожие останавливались и улыбались ей вслед, и на миг их лица обретали неземную просветленность портретов эпохи Возрождения. Джанет шла за девочкой до остановки троллейбуса, пока та не спрятала айфон в сумочку и не зашпорила к распахнувшейся двери. Музыка стихла, но свет не погас. Солнце светило ярко, и Джанет почувствовала запах весны. Смешно было обнаружить себя на обочине весны в зимних меховых ботинках. Как же она пропустила ее возвращение? Не заметила, что днями солнце поднимается над горизонтом, а вечера уже не черные — голубые? Может, оттого что в квартире Марата навечно поселилась зима?

Троллейбус отъехал от остановки, унося с собой девочку в белом и ее прекрасную музыку, напомнившую море на рассвете.

«У моря нельзя быть несчастным, как не получится быть несчастным в одиночестве. Несчастливым человек себя чувствует только рядом с кем-то другим или без не-

го», — подумала Джанет, и ее потянуло в Сорренто или теперь уже прямо в Тунис: европейская виза кончилась.

Рекламные плакаты в окнах парикмахерской возле остановки изображали улыбающиеся головы, демонстрировавшие всевозможные переплетения солнечных африканских косичек.

Джанет вошла в парикмахерскую.

— Хочу ваше солнце на голове!

Ей старательно подобрали ленты всех цветов лета.

— Ты не меняешься, разве что выцветает, — пошутил Марат, впервые за прошедшие после бегства из города годы увидев ее на лестничной площадке.

И сейчас она словно вернула себе цвет, как в юности, когда, протестуя против природной серости русого, красила волосы в синий.

«На шаманское дерево повязывают разноцветные ленты желаний, я вплетаю их в волосы как оберег от сумрачного прошлого», — решила Джанет.

А в квартире Марата по-прежнему стояла зима. В гостях у Алиски Джанет задыхалась, у Марата постоянно дрожала от холода. Двери, как у родителей, — настежь, только у них внутри квартиры, а у него — не только входная не запиралась, но и балконные. Джанет казалось, что снег кружится под потолком в свете люстры, как на улице под фонарями, а спят они на замороженных простынях.

— Живи у меня, — предложил Марат. — Косту забрали в Летное.

Джанет сразу его узнала на лестнице. Марат мало изменился внешне, разве что прическу сменил с «ежика депешей» на каре и складки скорби в углах рта залегли чуть глубже. Ему по-прежнему не хотелось оставаться одному. Джанет приспособилась жить на две квартиры, все чаще оставаясь на ночь у Марата. Как и в детстве, не притронулись друг к другу, исповедуясь ночи напролет. Слишком уж были похожи, что исключает взаимное притяжение.

История Марата была типичной историей крайностей: из демона в ангелы сквозь череду утрат. Новое падение — и всякая последующая боль усугубляет первую. Криминальный бизнес рухнул, начал с нуля, голодным, по-честному — и получилось, дальше задумался о благотворительности. Не отдашь — не получишь, мир — замкнутая энергетическая система обмена: что посеешь, то и пожнешь. Личная жизнь не сложилась, потому что упустил Ингу, теперь у каждой встречной просил прощения, но они уходили, уходили и уходили, пока не вернулась та, которую всегда ждал, но вернулась иначе. Коста тоже вернулся: не соперником, а избитым, изъеденным жизнью младшим братом, при виде которого на пороге сердце сжимается теплой, кровоточащей нежностью, кому всегда помогаешь независимо от того, что он там натворил. Родителей Марат друг за другом похоронил несколько лет назад, а старший брат...

— Кирилл из тюрем не вылезает. Утверждает, что если в стране не будет лагерных заборов, никто здесь не почувствует себя по-настоящему свободным. Он понял, что такое жизнь и свобода, когда после первой отсидки вышел за ворота и увидел весеннее небо. С тех пор так и живет: на воле творит, что в голову взбрдет, идет куда хочет, берет что хочет. Пока не поймают. Говорит, свобода — как воздух: в здоровом состоянии не ощущаешь, но стоит начать задыхаться... Мы всю жизнь дышим спертым воздухом, а он предпочитает кислород. Я-то знаю, Кирилл все бы отдал, чтобы никогда не возвращаться за решетку, но жить «как все» не умеет. Никогда не умел. Для него жизнь — череда взлетов и падений, только взлетает он все реже, а падает все больнее. Живет вне закона и считает это чуть ли не подвигом. А знаешь, как он называет тех, кто придерживается хоть каких-то правил?

— Как?

— Неваляшки.

Могла ли Джанет отнести это странное слово к себе? Скорее нет, чем да. Она жила за пределами мира правил, но ее пока не поймали.

На полке у Марата стояла, а точнее, все время падала с нее на пол деревянная фигурка охотника на камне — подарок Косты.

— Коста назвал статуэтку «Достоинство» и просил никогда не ронять. Но ты же видишь: дно камня специально подпилено, удержать равновесие сложно, почти невозможно.

Джанет размышляла о том, что достоинство современного человека превратилось в неваляшку: упал — поднялся, качаешься — улыбаешься. Здесь никто не способен ощутить унижения. Вспоминая Косту, она вновь и вновь думала о музыке. Не она ли служит приметой времени? Как меняются музыкальные течения, так меняется река времени. Вчера слушали честную поэзию рока, с ее грубыми неотесанными ритмами, а сегодня растворились в пластмассовой электронной кислоте, с ее бессмысленными повторами одних и тех же слов, впадая в транс повседневности, забывая, кто ты и где, забывая жить. Встретив девочку с волшебным лучом звука в руках, она поняла Косту, бросившего в тот роковой год стучать по барабанам. Музыка девочки была роковой композицией прошлого в современной обработке, где главную мелодию вела флейта — древнейший инструмент на земле, возникший из музыки ветра в пустом стволе дерева. Коста нуждался в природе музыки, а не в искусственно созданных на ее основе шумах. Одна из его картин изображала оркестр. Коста нарисовал фотографию рождения музыки: размытые движения рук и голов над четкими контурами инструментов. Он намеренно создал тени, безголовые и безрукие тела, растворившиеся в движении, заявив тем самым, что музыканты лишь инструменты в руках времени. Джанет ощущала подобное. После «Неосада» посещала многие, хорошо танцевала, даже подрабатывала в подтанцовке. Казалось, новая музыка наполняет изнутри. Но однажды в клубе время вдруг замерло, и Джанет, тогда еще Жанка, вдруг увидела вокруг себя потные дергающиеся тела — как белых извивающихся червей в яме, а музыка загрохотала снаружи. Выбежала на крыльцо. Стошнило в урну у входа. И она отправилась пешком на рассвет через весь город одна, чтобы прийти в себя. Больше никогда не танцевала, ни разу. Что-то сломалось в ней тогда, и внутри поселилась тишина. С тех пор музыка внушала ей то страх, то отвращение, то чувство вины. Но сегодня девочка в белой куртке вернула ей первобытную радость.

— А Коста искал истинный, изначальный образ всему, — рассказывал Марат. — Говорил, безобразие — это значит жить без образа, как без иконы. Говорил, современная икона — «Черный квадрат», олицетворяющий всеобъемлющую пустоту. Искал, расширял сознание, заваливал мою квартиру картинами. Уходил, возвращался, жил у меня, жил на улице. Все от него отвернулись, кроме меня. Сейчас снова в Летном. Я вернулся, чтобы вывести часть денег из бизнеса — на этот раз лечение обойдется дорого. Иначе ты бы меня не застала. Нанял управляющего, а сам живу почти всегда в Летном, в поселке у озера. Летом ловлю рыбу, зимой хожу к нему в лечебницу на другой берег прямо по льду на лыжах.

— Он так и не вернулся после сейдов? — ужаснулась Джанет.

— Он всегда здесь, — отвечал Марат.

Это странное свойство исповеди: лишь спустя годы можно открыто рассказать обо всем, лишь спустя годы поверить в случившееся. Балансировали на подтесанном со всех сторон камне Косты, как две ухватившиеся в отчаянии друг за друга статуэтки. Она — на камне вины, а он — на камне непреходящей боли.

— Инга тоже здесь, присматривает за нами, — блаженно улыбался Марат, и у Джанет мороз пробежал по коже.

«Get inverted» — крутился в голове обрывок виртуального кода, вновь и вновь возвращавшего посетителя в одно и то же место web-сайта, превращавшего его «нет» в «да», воровавшего данные, искажавшего их до потери личности. Перевернутый, опрокинутый мир. Марат говорил о живых как о мертвых, а о мертвых — как о живых. Мрак в его квартире излучал свет, а тишина была живой, дышала, издавала звуки. По ночам засидевшись допоздна, когда не решалась будить родителей, возвращаясь домой, и ложилась спать в его гостиной, Джанет слышала шелест снега под потолком, а в сны приходили люди из-за океана: из тех, кто строил дома на могилах предков или на могильных плитах писал не годы жизни, а мгновения счастья. Все эти годы Марат просидел в четырех стенах, не выезжая из города, но понял о мире и людях больше, чем объяснили ей тысячи дорог. Ближе Марата сейчас не было никого. Застань Джанет его по приезду и поговори обо всем, ей в голову бы не пришло размораживать Леру или задыхаться в Алискином семейном счастье.

— Неужели жизнь дана только как жизнь внутри тела? — спрашивал он пустоту в квартире, и Джанет ощущала присутствие третьего рядом.

Рассказала ему о девочке с флейтой в руках, и Марат подвел ее к зеркалу.

— Инга живет здесь, — сказал он. — Когда у нее было тело, я раздел ее перед этим зеркалом, и комната сразу наполнилась каким-то сладким туманом. Она смотрела на себя так, будто увидела впервые, будто это я ее воплотил, а до меня она жила незримо. Тело — ребристое, как индийская флейта, но чище звука я не извлекал ни из кого, а у меня было много женщин. Инга не сразу вернулась, и мне нужны были другие, чтобы, лежа на них с закрытыми глазами, мечтать о ней.

— Ты не виноват, — протестовала Джанет. — Страх не победить, не изъять изнутри, можно лишь научиться жить с ним. Или избавиться от него, то есть — от себя. Мы росли в девяностые, видели много чего, на улицах стреляли, смерть казалась чем-то обыденным, что в любой момент может наступить. Неудивительно, что мы отворачивались, притворялись слепыми. Знаешь, в ту пору отец рассказал мне одну историю... Она меня успокоила и заморозила. Во время научной конференции он познакомился с профессором, доктором наук, который учил его за обедом... ловить чертей. Папа решил, сумасшедший. Но профессор написал монографию о магнитных полях и лекции о своих «чертях» читал и в Лондоне, и в Нью-Йорке. А дело было так: из углов выходили тени. Ученый, конечно же, не поверил в их существование, зато поверил в свое безумие. Добровольно лег на обследование в Летное! Ездил в Москву к самым дорогим специалистам. Но многочисленные доктора никаких проблем с психикой у него не выявили. Дальше пошло-поехало: экстрасенсы, изучение магнитных аномалий, открытие нового закона, чтобы избавиться от явлений «чертей» и не продавать фамильную квартиру с видом на набережную...

— В том доме с резными балконами, который затопляет во время штормов?

— Затопляет подвал. А он жил в поднебесье, на последнем этаже. Квартира была двухэтажной: балкон на первом уровне и мансарда на втором. Никто из нас не мог позволить себе такое жилье, а у него — партийное наследство по отцовской линии.

— Я бы тоже боролся за такую квартиру. Семейный замок, а не квартира. И что, избавился от чертей? Может, стоит его навестить, спросить как?

— Он умер несколько лет назад.

— Вот видишь...

— Нет, черные люди ни при чем. Банальный инсульт или что-то вроде. От старости.

— Не был бы так уверен. Они могут все!

— В любом случае он перекрыл один выход, а их тысячи, если видеть и знать. Я предпочла верить отцу и навсегда отделила физику от метафизики. Наш сумрачный мир — фобия северных стран, где всегда темно. Скандинавия на первом месте по чис-

лу самоубийств в мире, основной причиной называют световую депрессию. Когда сбегала в лето, забыла о ней. В курортных городах зимой менеелюдно, чем в сезон, но никто не запирается на ночь в домах. Улицы полны людей, звуков, огня. Там никогда не спят. Теням негде прятаться, перестаешь ощущать присутствие за спиной и наконец выдыхаешь. Папина история убедила меня, что я не безумна. И не одинока. Я смогла успокоиться и сделать вид, что все в прошлом или, лучше, что ничего не было или было, но не со мной. Глитчевая картинка: вздрогнула в подсознании и исчезла. Значит, привиделась, почудилась, показалась.

— Вот именно: показалась! Явила себя.

— Да ладно тебе, главное — сменить фокус. Когда знаешь, что страх существует, но не замечаешь, тем самым лишая его силы, он перестает управлять тобой. То, что перестает быть важным, не способно влиять на твою жизнь. Несущественный страх уменьшается, а со временем исчезает вовсе. Иногда вспыхивает посреди ночи до рези в глазах, до ледяного пота и зубовного скрежета, но можно научиться контролировать эти жуткие вспышки, переключаться на то, что ночь неминуемо кончится. И постепенно забывать себя прежнюю.

— Есть только миг между прошлым и будущим, — пропел Марат. — Ты поняла этот миг. Связь времен существует.

Из дневника Жанки, на грани столетий

В феврале за окнами падал тяжелый снег, льдинками дробя подоконник. Чудилось, кто-то скребется, пытаюсь прорваться в сон. Ночами напролет я училась притворяться мертвой во сне, чтобы не заметили и отпустили.

А потом в город внезапно ворвалась весна — и нас всех отпустило. Пещера распахнула окно в пронзительно-синее небо над крышей. Превратилась в пункт обмена: музыкой на кассетах и пластинках, яркими шмотками из секонд-хендов, клубными впечатлениями. И все это было окрашено светом влюбленной радости. Мы были рады друг другу и тому, как быстро успели позабыть тревожные зимние ночи. «Память девичья», — любит повторять мне мама. Иногда такая память спасает: мы не стали искать логического завершения, а просто отбросили все непонятое, счистили его с себя, как грязный подтаявший снег. И пошли танцевать.

Коста взялся за тушь. Из-под его пера выходили пугающе-прекрасные картинки заброшенного всеми сумрачного мира. Новый стиль жизни, говорил он, психоделика. Превратив страх перед неведомым в модное увлечение, преодолел его — и научил нас. Даже Инга начала рисовать. А Коста с Алисой стали парой: взглянули друг на друга по-новому и решили быть вместе.

Мы говорим: «Они ходят», мама спрашивает: «Куда?», мы смеемся над ее непонятливостью.

С Джексоном мы тоже ходим. Избродили всю Зареку с собаками. Нам хватало нас, и в пещере появлялись редко. Весна водила по улицам города допоздна...

Я сидела на скамейке у окна в коридоре. Большая перемена, все ушли обедать, а у меня аппетит пропал еще на уроке. Историчка, захлебываясь от восторга, рассказывала о подвигах во имя отечества. «Они пожертвовали жизнью, а чем вы готовы пожертвовать или так и будете до старости жвачку жевать?» Чавканье на последних партах стихло. Я, не поднимая головы, срисовывала в тетрадку орла с распахнутыми крыльями с лейбла «Монтана» на джинсах и не заметила, как она очутилась рядом. Вырвала у меня тетрадку. Последнее, что мелькнуло как озарение: тетрадка была в клетку. Я посадила орлов, чей размах крыльев ассоциировался с мощью свободы, за

решетку. И тут же перед глазами всплыла другая картинка из детства. Первый класс. Маленькие испуганные дети за партами слушали о подвиге Матросова — грудью на амбразуру во имя отечества. Все одноклассники сразу возмечтали стать героями. «Нас готовят на убой», — подумала девочка с бантиками за школьной партой.

«Тюрьма внутри тебя», — повторяла гораздо позже школьный психолог Олеся Николаевна.

Я спорила: «Чтобы она там была, нас с детства обрабатывают. Нас учат не жить, а служить другим».

«А ты думай сама. Человека ограничивает среда, чтобы раздвинуть рамки существования, расширить горизонты возможностей, нужно учиться. Всю жизнь учиться чему-то новому. И не зубрить, чтобы сдать экзамен и забыть, а размышлять, как и где применить усвоенные знания». Она рассказала мне о теории альфа-, бета-, гамма- и омега-людей. Лидеры, помощники, серая масса и аутсайдеры. Омеги не вписываются в предназначенные социальные роли, часто нарушают закон или выбирают отшельничество, но все опередившие время открытия принадлежат тоже им. «Учись, думай», — твердила Олеся. Начала напоминать мистера Антолини. Я сидела на скамье у окна и держала в руках не раз читанную и потрепанную книгу, которую она же и подарила. Тоже героя войны, освободителя Дахау, где черным по белому было написано: «Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за ~~правое дело~~ мечту, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради...»⁷ Текст книги я исправила, будто продолжая с ней спорить. Но искренне верила, что Сэлинджер выжил, потому что писал не о войне, а о приключениях подростка в Рождество.

«Единственная обязанность человека — жить и быть счастливым. А быть счастливым — значит жить как хочешь», — решила сказать ей при встрече, но в сердцах крикнула вслух.

Я отвернулась к окну. Оглянувшись, увидела пустую аудиторию, двинула к лестнице, чтобы идти домой. Оставаться на другие уроки не было сил — из меня будто выкачали весь воздух...

Евгений Романов, в нашем веке

— Тебя долго ждать? — спросил гость в кресле, наливая себе выпить.

Так они и появляются: окна зашторены, двери заперты. Из ниоткуда. Одеты по обстоятельствам, но всегда в черном. Косуха в дни молодости, сейчас — блистательный смокинг.

— Я уже не подросток с бритвой в руках, доказывающий всем свою крутизну в ожидании слов: «Мы все тебя любим таким, как есть, для нас ты — лучший», — спокойно ответил Романов, усаживаясь в кресло напротив.

— Конечно-конечно, — закивал гость, — Джексона давно нет. У тебя иней в волосах, а все не веришь нам.

— Я не старик, — чуть оживленнее возразил Романов. — Не репетирую пока перед сном свои похороны, тщательно подсчитывая количество пролитых слез и восторженных слов вослед.

— Но тебе же незачем оставаться, — усмехнулся гость, поднимая стакан с коньяком.

Евгений отстранил свой, не желая соприкоснуться даже стеклом. На него вдруг накатил смертельная усталость.

«Иней... — подумал, — лучше бы поседел весь, заледенел, и ничего бы уже не хотелось». В последнее время он чуть ли не физически ощущал тяжесть безмолвия. Ему все труднее стало находить общий язык с людьми в городе. Говорил с пьедестала ува-

⁷ «Над пропастью во ржи».

жаемого ветврача на профессиональном жаргоне, когда не могли возразить. Доктор Романов! Лечить людей цыгану никто бы не позволил, а к зверям он, по их мнению, был ближе, чем вызывал безграничное доверие. Дитя природы, дикарь. Ведьмино отродье.

Цыганскую Зареку всемогущая Раина дом за домом перевезла за собой в Санкт-Петербург, а потом в Москву. Блондинистые соседи-северяне, к которым еще лет пять назад Романов мог запросто зайти в гости — приготовить что-нибудь вкусное на мангале, посидеть за чаем или рюмкой водки, послушать музыку или посмотреть какой-нибудь нескончаемый сериал вместе с их женами, распродали свои ветхие дома как землю под застройку коттеджами новых русских и переехали в престижные городские районы. Как они бывали разочарованы им: цыган, и без гитары?! Но Джексон и не стремился к самовыражению. Никогда не умел ни писать, ни говорить складно, ни рисовать, ни петь, не учился играть на музыкальных инструментах. Одно лишь тело, послушное ритму музыки, вело его само, гибкого канатоходца по лунной дорожке, отсюда и прозвище. А с Жанкой они когда-то были лучшими танцорами «Неосада». Когда-то — значит, слишком давно, чтобы помнить. А теперь и вовсе некого разочаровывать или удивлять. От прежней Зареки остались слепой дед с большим догом и каменные круги Шувано. Романов понял, что сейчас ближе всего к наставнику, своим запретным одиночеством. После смерти Брата и ухода последней подруги круг общения сузился до рабочего. А выходные и праздничные дни грозили полной изоляцией. Люди не прощают тех, кто выделяется. Он заслужил уважение, выделившись из толпы бесполезных клерков профессией, но вне клиники его предпочитали не замечать.

На днях, прогуливаясь по Озерному проспекту в час пик, Романов испытал то же мистическое чувство, что и Джанет на привокзальной площади: бытие вне мира. Люди всегда куда-то бегут, как во сне, и живы, пока бегут. Если вдруг остановятся — сон кончится. Жизнь — борьба и движение вперед, ее основа — невоплощенные желания. Счастливые люди уверены только в движении, изобретая себе все новые и новые цели. Переизбыток внимания порождает тягу к уединению, желание всецело принадлежать себе, а одиночество — потребность слиться с окружающими. И то и другое недостижимо: любимого не отпустят, как он не может отпустить беспокойство о близких, а одинокого не примут, как он не принимает себя. Все живут ожиданием лучших времен. А если перестают желать и нуждаться в будущем, над ними произносятся: «Наконец обрели покой».

«Я не должен чувствовать усталость, иначе...» — подумал Романов.

— Человека невозможно победить, пока он сам, в душе, не сдастся, — процитировал вслух книжную истину.

— Человек рождается, чтобы потерять себя. Он здесь жертва, чья жизнь принадлежит другим, а себя ощущает лишь в редкие минуты тишины, когда смотрит на звезды над озером. Усталая душа просит уединения, где способна воссоединиться с источником, исцелиться, обрести покой. И мы не можем отказать. В последние дни ты ведешь себя именно так. Может, пора?

Гость подлил им обоим еще коньяку. Бутылка не убывала. Гость никуда не спешил. Романов понял, что беседа затянулась надолго, и потому лучше бы экономить силы.

— Нет, — как можно дружелюбнее ответил он. — Не думаю, что мое положение столь исключительно.

Гость уловил игру слов и нахмурился. Романову хотелось крикнуть: «Не дожدهшь-ся!» Читают ли они мысли? Приказал себе ничто не воспринимать всерьез и, преодолевая страх, продолжил:

— Избавления просят от неизлечимой болезни, когда нет сил терпеть боль. От позора игрока, спустившего наследство. В одиночной камере, откуда нет выхода, кроме

как в могилу. Разведчики носят при себе ампулу с ядом, чтобы не выдать своих. Безумие отправляет в доисторический вакуум вселенной. Мало ли исключительных случаев. Я не из их числа. Простой обыватель, вполне довольный своим здесь пребыванием и отчаянно цепляющийся за жизнь, какой бы она ни была...

— Пустой надеждой, — едко закончил гость.

Неважно какой. На Озерном проспекте у Евгения появилась надежда, и определения значения не имели. Если двое способны обмениваться снами и чувствами, то шестеренки часов вновь совпали. Город стал единым пространством, где существует вероятность встречи. Теперь он не чуял, а видел след некогда близкой. Жаждал вернуть прошлое, раскрыть все его тайны.

— Я не узнал всего, что хотел узнать.

— Боюсь, это невозможно. Взгляни сюда, — гость поднял пустой стакан на просвет. — Можно ли считать коньяк полноценным, если наливать его, предположим, в стакан с кока-колой, соком или, не дай бог, с молоком? Вот же дрянь будет, правда? Ценен чистый напиток. Ваша жизнь — тоже эксперимент. А опыт искажает результаты познания.

Романов внезапно вспомнил, как рассматривал лица людей в троллейбусе. Догадываясь, что воспринимает их предвзято, наполняя истории незнакомцев своим жизненным опытом.

— В течение одной жизни ты расслаиваешься на роли и предназначения, а прибавь сюда опыт предыдущих или чужих. Не запутаешься?

Евгений промолчал.

— Синдром Фауста опасен. Жизнь гения может быть аннулирована.

— Но гении живут вечно.

— Всякий раз возвращаясь к одному и тому же. На вечный суд. Человек приходит на землю учиться, а не оставлять следы. Тебе будет позволено сложить мозаику там. Там освободишься от тайн. По ту сторону. Чтобы выбрать, так сказать, следующий курс университета жизни, а по прибытии все забыть и черпать новые знания без искажений. Хочешь пожертвовать своей надеждой на перерождение в пользу живых, чтобы они знали, что смерти нет? Согласен, благородное желание. Но никому не нужное. Люди верят, и им этого достаточно. Без доказательств. Да и что ты можешь доказать? Живешь день за днем, каждое утро рождаешься, чтобы вернуться на круг повторений...

— Значит, я достиг гармонии. И мне — хорошо в постоянстве дней. Самое время оставить меня в покое! — не сдержался Романов.

— Рутинa не есть гармония, — покачал головой гость. — Как правило, неразвивающийся организм, как любая замкнувшаяся в себе система, стремится к саморазрушению. Сердечный приступ, например, или попал под колеса машины на перекрестке. Я удивляюсь, как тебя не удостоили вниманием...

— Будем считать, что мне повезло, — Романов хотел подняться с кресла, тем самым указав гостю на дверь, но не смог пошевелиться.

— Запомни, — сказал гость на прощание, предугадав его желание. — В этой жизни тебе остались только сны. Молить будешь, мы не вернемся!

— Дверь закрой с той стороны! — заорал вслед.

Хорошо, что не запустил стаканом, осколки с пола потом убирать, подумал, обнаружив вдруг себя сидящим перед зеркалом. Отражение закинуло ногу на ногу и уставилось на него дикими глазами.

«Надо завязывать с выпивкой!» — решил Романов, глядя на обмелевшую бутылку на столике у кресла.

Истина всегда о двух концах, выбери, за какой держать. Мистики утверждают, что сумерки опускаются на землю с наступлением ночи. А дедушка Юнг бы возразил: су-

мерки поднимаются из земли, наблюдайте внимательнее, сказал бы он, сумрачный мир творите вы сами, это ваше подсознание. Страх смерти, страх не дойти до конца пути, не закончить начатое, не завершиться...

Бродил бы я по небесам при свете и во тьме,
 Во времена и дня, и ночи облачаясь,
 Я б постелил одежды неба под ноги тебе:
 Сказав, что полон только снами,
 Но до незримости истощены они.
 Ступай нежнее, ибо идешь ты по последнему,
 Что у меня осталось, —

переиначил строчки Уильяма Батлера Йейтса. Никогда не запоминал строфы наизусть, читал своими образами и словами. Ирландская темная мифология поэта и отчужденность от мира старой доброй Англии напомнила Романову собственную лунную походку по краю скандинавских болот.

Томик стихов бросила на клеенчатом кресле в приемной ветклиники хозяйка кошки по имени Жанка. Романов забрал книгу себе, как когда-то забрал Брата. Зная, что никто за ними никогда не вернется.

Джанет, в нашем веке

— Новая дверь — новая жизнь! — радостно сообщил коммивояжер, протягивая с порога рекламные буклеты.

— Перемены не всегда к лучшему, — мрачно выпроводил его Марат.

— Но все-таки не запирай, — попросил, уходя.

Утром звонили из Летного, сообщили, что Коста умер во сне. Марат поехал улаживать формальности с больницей и похоронной службой.

Джанет осталась одна. Обещала быть на связи на случай, если понадобится помощь в городе. Двери у Марата в квартире не запирались изнутри, только снаружи. Джанет нервно ходила из комнаты в комнату, понимая, что в любой момент кто-то может проникнуть, ворваться внутрь. Как Марат здесь живет? Ей вдруг вспомнились внезапные звонки в дверь московской съемной квартиры осенью, и как испугалась невидимых незнакомцев, погасила свет, будто темнота, растворяя в себе, могла уберечь от опасности. Она часто скрывалась так ото всех: погасив монитор компьютера, отключив телефон или свет в квартире. Темнота в окне, электронном ли, живом, означала: «Меня здесь нет. Вы меня не достанете, я недосягаема, в безопасном месте».

Тишина, чьи-то шаги по лестнице, снова тревожная тишина. Чем ближе к весне, тем позже темнеет. За окнами повис белый день.

«Одиночество — как молоко, — подумала Джанет, ощущая себя заблудившейся в пустоте, где некому защитить. — Будешь от страха кидаться из угла в угол, взбивая вокруг себя стены из масла, как та лягушка из басни, но, скорее всего, захлебнешься, утонешь».

Для Марата страшно быть запертым. «Будь на связи», — твердит он по телефону каждому позвонившему. Незакрытая дверь — как веревочка в детском саду, за которую они держались, чтобы не потеряться, когда воспитательница вела их на дальнюю прогулку. Марат отпустил Косту в Летное, и тот потерялся. Марат теперь тоже мечется от безысходности: хотел как лучше, заплатил за лечение, а получилось, что потерял друга. В детстве они соперничали, потом дружили, снова сплетались и расплетались, в их отношениях было много жестоких травм, но и близость, их порождающая. Не-

ужели нельзя с кем-то слиться воедино, чтобы не изранить друг друга? Джанет взяла с полки статуэтку достоинства. Вот то, что мешало ей: руки, скрещенные на животе, во время битвы с несчастлившимся мужем за личное пространство; спешка паковавших рюкзаки перелетных птиц, когда тебя оставляют в чужой стране, как надоевший пейзаж; чувство вины за никак не желавшую клеиться жизнь, за отсутствие привязанностей, будто связь с миром — это некий жизненно важный орган, и без него человек — инвалид.

Джанет невольно провела руками по многочисленным афрокосичкам. Зачем ей вздумалось заплести их? Девочки в детском саду и школе любили плести косички, складывать из кубиков кукольные домики, позже в школе вязать шарфы, всегда что-то связывать между собой. Ей же нравилось вырезать что-то из чего-то. Может, так она и себя шаг за шагом отделяла от мира? В дневниках Жанки мало ее собственных слов, намеки, обрывки мыслей, цитаты из книг и летопись чужих разговоров, отдельными фразами, из которых так трудно что-то понять, сложить воедино. Может, уже тогда она начала стирать себя, растворяться?

Да, жизнь состоит из смерти — из череды похорон и пожелтевших фотографий в семейных альбомах, из утрат и разлук. Потусторонний мир существует. В глубине души любой из нас верит в непреодолимые силы, толкающие или влекущие нашу судьбу. Мы говорим с ангелами или демонами внутри себя, но из страха показаться безумцами маскируем эту веру общепринятой мифологией, не пытаемся проникнуть за грань, объяснить. Люди боятся темноты, как дети. В ней что-то шевелится, что не поймашь за хвост. Люди закрывают глаза.

Жанка сделала то же самое. В неспящих городах можно проваливаться в предрасветное забытие, восполнять силы, чтобы жить дальше, не перешагивая границ, оставаясь по эту сторону бытия. И Жанка закрыла глаза, даже наедине с собой. Так крепко, что, когда открыла, очертания мира казались неясными и размытыми, как в дымке, когда смотришь с необитаемого острова и не веришь в возможность кораблей. Издалека все кажется неправдоподобным. Иллюзия самозабвения: забываешь о себе, забываешь о других.

Джанет смотрела, как в вечерних сумерках морского цвета зажигаются одно за другим окна во дворе детства. Мама недавно горько усмехнулась ее безнадежным попыткам нашарить на стене выключатель.

— Потому что нигде не чувствуешь себя дома, — сказала она.

Джанет вспомнила, что собирала и склеивала только в семье: мозаику, «складные картины», которые папа потом вешал на стену, и ее мучительно потянуло домой. Если бы не связь с семьей, пусть нерегулярная, виртуальная, по телефону, но неразрывная все эти годы, она не пережила бы своего одиночества. Марат раньше утра не появится, а ей нужна была скорая помощь: поговорить по душам с самыми близкими.

Вслушав ее сбивчивую исповедь обо всем прошедшем и случившемся вновь, мама долго молчала сама. Но одна тайна влечет за собой другую, и Джанет узнала семейную легенду, в которую тоже не верили, но боялись повторять вслух.

«Береги глаза!» — твердили ей с детства, об остальном молчали.

Младенцем Жанка чем-то заболела, сутками не смыкала глаз, врачи разводили руками. Бабушка вопреки протестам родителей позвала зарецкую цыганку. Та помогла ребенку заснуть, но предупредила: «Начнет видеть в темноте, не сможет жить при свете».

Мама поняла буквально: Жанке без конца проверяли зрение.

«Не скажешь, не сбудется!» — успокаивала бабушка.

И только сейчас, сложив все слова воедино, обе поняли: цыганка толковала не о зрении, а о видении.

ГЛАВА 4. МЕЖДУ МИРАМИ

Вокруг постели спящей расселись шесть человек. В изголовье на прикроватном столике лежала увесистая книга. Первый сидящий взял ее в руки, открыл на произвольной странице и зачитал: «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»⁸.

Фразу повторяли по кругу, будто передавая друг другу и дополняя смысл интонацией. Скороговоркой и нараспев, глухо и звонко, криком и шепотом, восторженно и печально... Пока она не превратилась в мантру, в молитву. Не заполнила комнату, растекаясь по стенам, отталкиваясь от потолка, нагревая воздух до жара огня. Лица с шевелящимися губами приближались к лицу спящей. Голоса сливались в неотвязный бессмысленный гул.

Она не слышала говорящих, смотрела их сны наяву. Порог между явью и сном исчез: она пребывала в комнате с побеленными известью стенами и одновременно в разных мирах. Так ощущается безумие — безысходностью, когда невозможно очнуться.

Сон Леры: «Возвращение»

Лере выдали сверток и сказали: «Ты должна отнести!» На стене начертили план города. Красной точкой выделили пункт назначения. Город выглядел незнакомым, что в свертке, Лера тоже не знала. Но продолжала нести. С каждым сном сверток становился все тяжелее. Улицы поднимались и опускались. Переулки петляли. Здания в адресе то меняли таблички и названия, а то вовсе в них не существовало «пункта назначения», и никто не знал, где он. Трамваи, троллейбусы, мосты, перекрестки, проходные дворы, замкнутые площади. Солнце и дождь. Осенние шуршащие листья. Свежий снег и грязь под ногами. Она несла и несла сквозь времена. Не зная что, куда и зачем.

Иногда ей казалось, что в пакете бумаги, иногда чудилось что-то звенящее и рассыпчатое, как драгоценности или старинные монеты.

Этой ночью северный ветер бил в лицо, рвал во все стороны полы пальто. Лера запахнулась потуже, прижав к груди сверток. Шла по мосту, мимо со звоном и грохотом проносились трамваи. Мост дрожал под ногами и раскачивался. Лера, обмирая от страха высоты, хваталась за перила, останавливалась, закрывая глаза. Под мостом стелился туман, конца моста через ближайшие метры не предвиделось.

— Вам плохо? Вас подвезти? — спросил водитель из распахнувшейся рядом двери.

Машина была черной обтекаемой капсулой, с тонированными окнами, внутри таких чувствуешь себя замурованной заживо. Машина была подозрительной.

— На мосту нельзя останавливаться, — сказала Лера.

— Если сядете быстро, никто не заметит, что я останавливался, — ответил водитель.

Лера в отчаянии посмотрела в бесконечность моста и села на заднее сиденье.

Из зеркала заднего вида на нее взглянули внимательные, но ничего не выражающие глаза. Абсолютно непроницаемые.

— Куда едем?

Лера вынула сверток из-за пазухи и зачитала адрес.

Водитель уверенно кивнул вместо ответа.

«Кто он? — спросила себя. — Никто в городе не знает, куда мне нужно попасть, а он знает».

Ехали долго, до самой окраины. Снег на полях вдоль дороги здесь лежал нетронутым, хотя в городе давно наступила весна и текли ручьи. Дорога упиралась в КПП пе-

⁸ Евагелие от Матфея 7:14.

ред прямоугольным серым зданием с бетонным забором. Водитель вышел из машины и за руку поздоровался с человеком в военной форме. Они что-то обсуждали между собой, то и дело оглядываясь.

Лера сжалась на сиденье. На секунду в сознании мелькнула дикая мысль, что в пакете — бумаги из зала суда. Ее собственный приговор.

— Вы на месте, — сказал водитель, помогая ей выйти из машины. — Дальше вас проводят.

Лера молча последовала за человеком в военной форме. Здание они обогнули, миновав парадный вход. За зданием располагались вольеры со сторожевыми псами, которые тут же взвыли и подбежали к сетке, чуя приближение людей.

— Это здесь, — равнодушно сказал человек в форме и ушел, оставив ее наедине со взбесившейся стаей.

Лера в каком-то оцепенении смотрела в их пасти, брызжущие слюной, блестящие, налитые кровью глаза, на когти, царапающие сетку вольера... Не могла сделать ни шагу, ни вперед, ни назад.

Вдруг сверток в руках зашевелился и промок. В воздухе резко запахло ковриками из подъезда ее детства, где бабушки-соседки вечно держали по пяток котов в одной квартире. Лера сорвала упаковку. В руках ежился серый котенок. Тоненькое беззащитное тельце. Ей приказали убить самое дорогое, что у нее было, но она не могла этого допустить. Лера спрятала котенка за пазуху, повернулась спиной к вольеру и под вой и рычание собак твердой походкой зашагала прочь.

...Проснулась оттого, что кто-то едва слышно, но упорно царапался в дверь квартиры. Лера сразу поняла, кто это, и решила оставить котенка себе.

Налив ему молока в блюдце на кухне, смотрела, улыбаясь, как он нелепо и жадно лакает, а потом позвонила на работу и сообщила, что увольняется. Денег на ее накопительном банковском счете было достаточно, чтобы, лежа на диване и обнимая кота, читать книги до конца жизни. Вымышленные приговоры уже мертвых судей несущейся судьбе, которым незачем сопротивляться из последних сил.

Сон Алиски: «Необратимость»

Длинный обеденный стол решили поставить к стене, накрыть белой скатертью, украсить цветами, зажечь свечи. На блюда из разноцветного хрусталя разложили всевозможные яства, чтобы гости свободно подходили к нему и накладывали себе на тарелки кто что хочет, как на фуршете.

Алиска — ей бы хотелось, чтобы ее звали иначе, но со временем привыкла к жестокому и пренебрежительному «эй, ты!», звучащему в лишней букве «к», как к чему-то само собой разумеющемуся, ей даже стало казаться, что иного отношения она не достойна — по первому звонку рванула к входной двери встречать гостей.

— Ради бога, только не облажайся! И детей прибери из-под ног, — рявкнул вслед Максим.

Алиса не помнила, по какому случаю муж собирал на званый обед важных персон: именины начальника отдела, серьезный контракт, выигранный тендер, но знала непреклонную цель — повышение по службе. Все они, и Максим особенно, служили одному богу — золотому тельцу. Максим в семье — добытчик, а она — растратчица. Он ради семьи жертвует, а она своей неуклюжестью и непривлекательностью только и делает, что разрушает семейную крепость, воздвигнутую с таким трудом!

Люди приходили и приходили. Алиса прислуживала без усталости: вешала пальто, раздавала тапочки, провожала до двери в гостиную, недоумевая ее вместительности: народу, по ее подсчетам, собралось больше, чем на премьеру в театр. Наконец с последним гостем в комнату протиснулась и она.

То, что увидела, было необъяснимо и жутко. Не просто страшное зрелище, а именно непонятое способно вызвать настоящий инстинктивный ужас — из самой глубины существа.

— Поприветствуем хозяйку дома! — объявил человек в маске.

Он должен быть и мог быть мужем, но Алиса не признала говорящего. Как не увидела всех остальных. Как не узнала детей. На блюдах вместо угощений лежали разноцветные маски, и гости уже облачились в зверей и богов, чертей и птиц, насекомых и киногероев... И весь этот разношерстный мир зашевелился и поднял к мордам, лицам и клювам свечи в знак приветствия. Чокались свечами, как бокалами, и пламя переливалось через край.

Алиса привалилась к косяку двери и продолжала смотреть, не в силах покинуть комнату. Воздух потрескивал, капал воск, видения медленно оплавлялись на пол, и вскоре гостиная превратилась в омерзительную скульптуру из разлагающихся членистоногих монстров, в адово-колдовские фантазии Гауди.

Во сне попыталась убежать из дома — и проснулась. «Повезло», — подумала, как ребенок. А Коста проснуться не смог...

Первая оттепель. Свежая земля вокруг его изголовья будто дымилась. Алиса пересадила орхидею из горшочка в землю. Погибнет от холода, но не сразу, побудет с Костой вместо нее. Когда-то он не позволил ей остаться рядом, и потому в дальнейшем, разведенные, как мост, жизни складывались так уродливо и печально. В их первую семнадцатилетнюю ночь горячо целовала Косту, гладила, ласкала, но он не смог, у них ничего не получилось, и с тех пор ни разу не решились остаться наедине. Алиса в ту ночь поняла, что любовь — это случайная нежность, огромная, как мировой океан, но бессильная наполнить маленькие человеческие жизни. И не искала таковой более. Алиса мечтала иметь детей и выбрала Максима. Все одобряли ее выбор, кроме молчаливой матери. Беременной, Алиса боялась, что мальчишки, старший, а потом близнецы, будут похожи на отца, когда вырастут. Но они уже были им. Необратимо.

Сон Косты: «Вечный образ»

«Божьей милостью камень обратится в воск», — звучало во снах. Люстра раскачивалась под потолком, рассеивая по комнате горячие блики. Обессиленный, он лежал у нее на коленях, как в стране чудес, не сотворив своего. «Микеланджело. Пьета», — увидел он два обнаженных тела взглядом потолочного солнца.

«Что делать искусству, когда художник, сотворивший мир, давно умер, а образ его живет, не меняясь веками? — задавались вопросами искусствоведы в книгах. — Ничего, — отвечали сами себе, — начинать все сначала, и чтобы колесо не уставало вертеться».

«Смысл лежит за пределами вашего мира, — убеждали тени во снах. — Шагни в ночь — и обретешь больше, чем потеряешь».

Коста искал смысл во всем: в рок-музыке и кислотных клубах, в репродукциях картин из журналов и собственной неумелой графике, в поделках из дерева и Алискиных мягких руках. Но не мог проникнуть за невидимый восковой слой, заменявший миру вокруг целлофановую обертку, не мог сорвать, соскоблить с самого себя пленку окалины и расправить плечи. Оскопленный творец.

В гробнице Медичи он подходил к скульптуре Микеланджело, а оказывался перед зеркалом в современном зале какого-то провинциального музея. Постмодернистский сон, где тела Мадонны и Христа были выполнены художником из разноцветных стекол. Инсталляция начинала вращаться, сначала медленно, потом ускоряясь, сверкая до боли в глазах, радужные отблески, отражения, бесконечность. Помещение во-

круг, как единственная опора реальности, во сне растворялось в нестерпимо ярких бликах, и он физически ощущал бескрайнее одиночество летящей или падающей в открытом космосе планеты. Коста хватался руками за невидимый рычаг, чтобы остановить коловращение, но рука вытягивала из конструкции длинный язык бумаги, похожий на магазинный чек: сколько же там было причудливых знаков и слов! арабской вязью, иероглифами, латынью... и последнее слово по-русски — «Тщета».

Просыпаясь, под закрытыми веками он видел свой же отчаянный взгляд — как из черного квадрата зеркала.

Просыпался в кромешной тьме. Ждал, что кто-нибудь зажжет ему свет. И, не дождавшись, тянулся сам — к прикроватному шнуру. В больнице такие предусмотрительны для лежачих больных. Или тех, кого насильно заставляют лежать, привязывая к кровати.

Свет ослепил ненадолго. Коста достал из-под матраса наполовину исписанную и зарисованную школьную тетрадку, ручку и дописал Р. С.: «Флоренция не существует».

Сон Марата: «За рассветом»

В детстве Марат не верил в мир, существующий за пределами видимости. И в каком бы возрасте ни засыпал, окружающий мир уходил вместе с ним куда-то на ночь, исчезал до рассвета и рождался каждое утро, новый, неведомый, когда открывал глаза. Не Марат существовал в мире, а мир исходил из него. Где-то в глубине души знал, что его земля умрет вместе с ним и потому невозможно оставить на ней хоть какой-нибудь след. И, повзрослев, слушал чужие мечты о завещании, наследии и прочей бессмыслице с едва сдерживаемой улыбкой, какой одаривают особо наивных и глупых детей. Ни в юности, ни в зрелости не покидал пределы родного города и не собирался, не думал уехать куда-либо, даже в отпуск. В детстве каникулы, а потом отпуска взрослой жизни проводил с братом на озере. Оба были страстными рыбаками. На природе сумрак, поселившийся в его квартире, рассеивался, и если прошлое не отпускало совсем, то не давило так сильно, словно выветривалось ненадолго. В доме от духоты не спасали распахнутые в морозный день окна, а на природе на душе становилось светлее, чище, прозрачнее. И горизонты будущего взмывали ввысь, как корабельные сосны.

В лесу, у озера, он мог заблудиться и оторваться от преследования прошлого. Выйти за пределы видимости той, что уже никогда не вернется и потому не способна простить. Прощают живые, а Инга давно мертва.

Когда закованные в гранит набережные города или мрачная духота домашних стен начинали всерьез действовать на нервы, он ложился на диван у распахнутого хоть в зиму, хоть в лето окна, не чувствуя холода, не слыша барабанной дробы дождя, не внимая ничему вокруг, закрывал глаза и вызывал этот сон...

Огненная полоска над озером, красные угольки костра, тишина, прерываемая редкими всплесками. Лето, озеро, лес, рассвет.

— А что там, за рассветом? — спрашивал брата, тыча в пылающий горизонт удочкой, как указкой.

— Другая жизнь, — отвечал Кирилл.

Разговор во сне повторялся в разных вариациях, но с единым смыслом. Если рыбы не догадываются о нашем существовании, это еще не значит, что нас нет. Может, они считают нас богами: сыплем в воду манну, ловим и караем неосторожных, вытягиваем на небесный берег. Они могут дотянуться и поцеловать небо, но на берегу им нечем дышать. И нам тоже незачем догонять горизонты. За ними — чужая жизнь, где для нас нет места.

Во сне Марат бросал удочку и уходил бродить вдоль берега. Шел на рассвет, далеко-далеко. Но всякий раз упирался в невидимую стену. Прочную, словно из непробиваемого стекла. Как слепой, он водил по ней руками, вверх, вниз, кругами. Надеялся нащупать лазейку в зигзагах береговых шхер, но стена изгибалась, как застывшая волна, не пускала внутрь и оставалась невидимой, недостижимой. Марат чувствовал себя пойманным, замкнутым, как в аквариуме, а кто-то недобрый наверху наблюдал за ним и беззвучно смеялся.

Просыпаясь, слышал этот смех наяву. Не замечал, что и в жизни над другими смеется так же — не понимал, почему окружающих передергивает, стоит ему кому-нибудь улыбнуться. Впрочем, Марату давно уже не до смеха. Он рвался в сон и боялся, что там, за чертой, его заждались. Инга тоже водит по стеклу руками, и однажды, когда ладони их совпадут, стена, не выдержав разницы температур, треснет и разобьется. Крови не будет — в руках запыхает рассвет.

Сон Джанет: «Источник»

Джанет старательно поддерживала свет, оставленный Ингой во сне. Древесный дом был маяком в темном лесу. А маяк не может погаснуть. Он никого не спасет, но горит всегда, даже для тех, кто не видит далекий свет.

Прошла сквозь анфилады комнат, зажигая по пути настенные и настольные светильники, шагнула за порог — на поляну. Оглянулась. Позади возвышалось дерево — дуб с кленовыми листьями. Дубы и в природе умеют притворяться. Колдовское, шаманское дерево. Но как ему удается вместить внутри ствола, пусть и векового, целый замок? Иллюзия сумрачных пространств.

Поляна перед деревом тоже была освещена. Джанет подумала, луной и светом из окна. В темноту леса уводила тропинка. Поколебавшись немного, решила пойти по ней, узнать, куда приведет. Лес редел полянами, пока не оборвался на берегу озера. При села у воды. Волны тихонько накатывали на песчаный берег, что-то шепча и укачивая. Джанет впервые за много лет ощутила во сне покой. Темнота не пугала, от нее защищал тусклый свет, разливаясь повсюду, куда хватало взгляда. Джанет подняла голову и начала всматриваться в горизонт в поисках луны. Но горизонт тонул во мраке, а лунная дорожка по воде бежала от ее ног.

Джанет проснулась, вмиг осознав, что единственным источником света в сумрачном мире была она сама.

Сон Романова: «Двоеточие»

Самый яркий свет белого цвета. Кто-то видит в нем начало, кто-то конец. Евгений Романов увидел непреодолимость бесконечности, но продолжал вглядываться в пустоту до рези в глазах, до слез, пока невидимый, но осязаемый ветер во сне не прорисовал изгибы снежных барханов. Ветер не может дуть в пустоте, ему нужно от чего-то отталкиваться. У Романова получилось вылепить из ничего заснеженную пустыню. Первый шаг сделан.

Далеко впереди маячила черная точка. Евгений представил себе человека, бредущего сквозь снега, — и испугался: не дойдет, замерзнет и никогда не очнется. Значит, нужно представить иначе: в черной точке — сдвоенный силуэт. Человек и его собака. Если рядом собака, то за него можно не беспокоиться. Оба доберутся домой, где тепло и горит камин, где их любят и ждут.

«*Меня ждут. Я и есть этот человек*», — подумал Романов.

Но картина все равно оставалась безнадежно неполной.
Евгений зажмурился и вновь всмотрелся в белую пелену. Точек должно быть две.
Двое, каждый с собакой, ступают след в след, пролагая дорогу в снегах. Вчетвером они преодолеют все.

Здесь стоило бы проснуться, но сон не кончался, не отпуская.

Счастливого конца не будет, любовники никогда не встретятся.
Ибо каждый из них всегда находится у другого внутри⁹, —

завучала в ветре чья-то далекая пустынная песня.

Евгений открыл глаза, увидел белый потолок над головой — и заплакал, впервые за много лет.

ГЛАВА 5. МЕТАФИЗИКА ВРЕМЕНИ

Проснуться в чужой квартире, чтобы ощутить: на земле мы все неместные, временные, проходящие, понаехавшие... но у каждого — свой потолок, куда ни уезжай, ни беги от себя, и конца всем этим перевоплощениям потолка не будет.

Отвернуться от мира лицом к стене. На стене увидеть картину. Впервые увидеть: не темную абстракцию, которую не знали, как повесить, где верх, где низ, без подписи художника. А портрет.

Разгадку подарил солнечный свет весеннего утра. Лучи из окна падают на стол. На столе стоит ваза с полевыми цветами: маки, лютики, колокольчики, балаболки, цикорий — яркое разноцветье. Стол — в изголовье кровати. Девушка просыпается, кожа золотится и розовеет в утреннем свете. Картина называется «Пробуждение», и хочется всем сердцем поверить в лето.

Кто знает, быть может, это и твой портрет, и если поверишь ему, потолок исчезнет.

Из дневника Жанки, на грани столетий

Примета вступившей в права весны — крики чаек над городом. Живем, как на море. Зимой они улетают куда-то далеко, к открытой воде, летом и осенью обитают на озере, а весной, пока озеро подо льдом, ждут и ищут пропитания на городских помойках. Небо напоминает триллер Хичкока «Птицы», а крики — пронзительные, до боли в ушах. Который день подряд в их голосах слышится отчаяние, будто оплакивают всех: и живых, и мертвых, потому что неизвестно, кому из нас повезло.

— Чайка от слова отчаяние, — повторила вслух Косте, когда шли домой с кладбища позади всех, жмурясь от слепящего снега под ногами. Ингу похоронили несколько дней назад, но при родственниках трудно выразить все, что накопилось на душе за последние дни, недели, месяцы. И мы решили навестить ее одни, без присмотра старших. Окружили мертвый периметр прямоугольника еще живой взрытой земли и, склонив взгляды, молчали. Все шестеро: Лера, Марат, Коста, Алиска и мы с Джексонем, он встал чуть поодаль. Марат первый поднял голову, и я подумала, что взгляд у него — утопающего. Не смогла протянуть руку, боялась выдать себя.

Мать Инги затеяла расследование, кто виноват, но за неимением признаков насилия и хоть каких-то улик дело закрыли. Версия следствия: гуляли по крыше, подошла к краю, поскользнулась, выпала за борт. Те, кто был в центре крыши, не успели добежать-подхватить. Но кто был с ней на крыше? И что подтолкнуло ее так близко к краю?

⁹ Джелаладдин Руми.

Матери Инги пока хватило признания факта, что дочь не самоубийца. Но я знала: она не остановится, будет копать дальше, писать в газеты, следить за нами. Докопается до правды и сделает только хуже, они ведь не поленятся вскрыть и перенести могилу за ограду, эти святоши.

«Воцерковленные девяностые», — с грустью вздыхает мама. Она не против веры в добро и свет, но перекреститься у входа в церковь не могла себя заставить: никогда этого не делала и не хочу начинать — лгать себе и другим, говорила. А мать Инги — бывший партийный работник. В чем они, интересно, сами исповедуются? Как отправляли за решетку людей, виновных лишь в том, что мыслят иначе? Мать Инги в католики заделалась, в скандинавскую кирху ходит, а лица у обеих круглые, русские, с ямочками на щеках. Ну никак не викинги!

В нашем районе аж две церкви построили за год. Сияют ремонтом. Готическая кирха, ладно, хоть деревянная, но купола белокаменной православной блещут золотом, будто мечами. Напугал однажды разговор бабок на скамейке во дворе: «При советской власти сажали за крест на шее, но мы дожили до лучших времен, скоро за неверие начнут вешать, как встарь, и все жертвы им тогда отомстятся». Откуда эти верующие взялись? Как зомби из-под земли. А крестов на бандитских шеях — тех, кто стреляет на улицах, — больше, чем на прочих.

— Ты веришь в Бога? — спросил меня приглашенный на похороны Инги священник.

— Нет, — ответила.

Хотела добавить: вера нужна тем, кто на войне. И что еще вчера в школе твердили: «Бога нет» — и всех загоняли в пионерлагеря: мой галстук, исписанный именами любимых рок-групп, тому вещественное доказательство. Но промолчала, с ними лучше не спорить. Вынула незаметно рокерский алюминиевый крест из уха, забыла его снять дома, а на похоронах никого не хотелось злить.

— Напрасно, — надвинулся он на меня читать нотацию. — Бог дал тебе все. Мир вокруг прекрасен, но он так огромен, что многие просто заблудились, свернули с заветной тропинки счастья жития у него за пазухой.

Я поняла, что он говорит об Инге. Не верит в случайное падение, но ничего не может возразить против похорон. Его бы воля, закопали бы ее рядом с бомжами, но не смог дотянуться до конца правды, за ограду. Поняла — и почувствовала облегчение. Секундное осознание уверенности, что мы с Маратом поступаем правильно. Маленькое торжество, невоскресимое в агонии ночных сомнений. Как негасимый огонек домика-светильника, игрушечный, не способный ни от кого защитит, но рассеивающий темноту, удерживающий на ее зыбкой поверхности веру в новый день, в то, что жизнь продолжается.

— Они врут, потому что боятся признаться, что сами ничего не видели и не знают наверняка, — фыркнул Коста тогда вослед чернорясой процессии.

— А ты знаешь?

— Я вижу. Я видел это *всегда*, понимаешь?

— Нет.

— Бесконечный поток образов. В детстве я слушал музыку с закрытыми глазами, и красота меня поглощала, уносила, как мощный поток реки. Потом я стучал по барабанам в надежде найти камень, вынырнуть, вскочить на него, не нестись, захлебываясь, в потоке видений, а остановиться, запечатлеть в памяти все, что вижу. Я искал ритм жизни. Удары и есть те камни, по которым можно проскакать через реку, как по мосту. Но с ритмом не вышло, и я начал рисовать, замораживать образы в бумагу, как в лед, останавливать, чтобы рассмотреть получше, понять. А у Бога тысячи лиц, эти, — кивнул он в сторону молящихся, — видят его громовержцем и спасителем, мой — великий художник. Со временем понял, что я — раб красоты вокруг. Вот, —

поднял он ветку с тропинки, — видишь, сколько на ней изгибов? Ни один не повторится, невозможно найти этот ритм, только созерцать увиденное. И в этом моя трагедия. Красота изменчива. Невозможно соревноваться с природой, даже если получу художественное образование, все равно закаты над озером будут красивее, чем на моих картинах. Алиса тоже уйдет от меня со временем или растолстеет, — засмеялся он нервным смехом.

— Все преходяще, — поддакнула я, чтобы хоть что-то сказать, потому что с трудом понимала, о чем он толкует.

— И потому надо копить. Как белый цвет, что всему предтеча, и все и всех вмещает в себя.

Я взглянула на снег под ногами, он и правда светился. И присутствовал во всех случайностях севера.

— Я — снег, я — чайка, я — облака! — заорал вдруг Коста над ухом, и я отпрыгнула в сторону.

Марат с Алиской замерли впереди на тропинке и оглянулись на нас. Алиска с тревогой. Коста помахал ей рукой и улыбнулся. Они зашагали дальше. Мы двинулись следом. Меня чуть успокоило, что Джексон шел рядом, когда внезапно остановились, налетел на меня, ухватил за плечи, будто поддерживая, но я почувствовала, что хочет сказать: я здесь, с тобой.

— Копи свет, — шепнул мне Коста. — Никто не знает, но это самое важное занятие на земле!

Я по-прежнему не понимала. Он терпеливо объяснял. Вся обратную дорогу от кладбища до остановки автобуса в город. Мы спотыкались о корни сосен, вынырывающих из льда, как в моих пещерных снах, а бурые иголки запорошили вчерашний белый-белый снег. Коста сбивался со слов, я с мыслей. И это не давало проникнуть, понять.

Только в автобусе бегущая за нами радуга света от фонарей в окнах — разноцветные преломления бликов — осенила на внезапном торможении у светофора открытием, словно сложила все лучи воедино, в пронзительно-белый, слепящий луч, как крылья ангела. Измененный голос Косты продолжал звучать в голове, но не сбивчиво, а на удивление стройно:

— Существуют два мира: наш, материальный, где свет претворяется в материю. И, следовательно, противоположный — мир пустоты, ведь тьма — это отсутствие света. Единственный источник по ту сторону — ты сама. Пустой мир напоминает казнь средневековых монахов in pace: преступившего погружают во тьму, и он ползает, как черви под землей, в поисках выхода. Такова участь их всех, кто не видит, не замечает. Видящие же копят свет: каждое прекрасное мгновение — отблеск капель дождя на цветах сирени или очерк летящих по небу облаков — наполняет яркостью, зажигает внутри фонарь, как твой домик-светильник в пьесах-фантазмагориях. Сила твоего источника света — в образах памяти. Исчерпаешь — погаснет, догорит, как свеча, не успеешь добраться до выхода в новую жизнь. Светлые люди озаряют и создают мир вокруг, темным нужен кто-то в качестве светильника. Вот они и приходят за нами. Им нужен источник света, чтобы найти выход. Так что жуткие сказки о рае и аде, наверное, вовсе не сказки. Просто слепые при жизни не знают, как объяснить прочитанное в священных книгах, там же сплошные притчи. Или поэзия. Невозможно перевести на нормальный, понятный всем язык стихи, правда? Я не говорю о физически незрячих, знала бы ты, сколько образов и цветов таится, например, в запахе снега! Говорю о бесчувственных. Им вечно нужны разумные доводы и оправдания для жизни. Но я знаю: мы не себя пришли явить в этот мир, оставить наследие потомкам, как твердят в школе, а учиться, наполняться жизнью до краев, искать свой прекрасный образ. Негасимый маяк. Он укажет путь в новую жизнь, когда окажешься по

ту сторону. Но для этого надо идти своим путем, ни на кого не оглядываясь. Выбирать в спутники тех, кто чувствует все острее тебя, умеет мечтать, кто наполнен судьбой и дорогой, кто копит свет — глазами, ладонями, мыслями, сердцем; они смогут поделиться с тобой, научить, как собирать его капли. Избегать тех, кто себя не знает, не чувствует, кто пуст изнутри, живет чужой жизнью, успехами, сплетнями, завистью, они выпьют тебя до дна при жизни, они никогда не доберутся до выхода по ту сторону, а ты рядом с ними ослепнешь. Надо быть осторожным: правильно выбирать друзей...

Дальше я не дослушала, прервала. А вдруг Джексона Коста причислит к теням? Он так честолюбиво стремился стать своим в тусовке, в городе. Задержала шаг, и мы переплелись пальцами рук, как ветки деревьев над головой. И качались от ветра вместе из стороны в сторону до остановки. И, глядя на раскаты света городских огней за окнами автобуса, я думала, что не отпущу Джексона ни за что, даже если его карманный фонарик погаснет и он не сможет вести нас дальше. А еще — о том, что слова Косты теперь останутся во мне навсегда, как камень на дне озера, как ожог на сетчатке глаз от искрящегося на солнце снега.

Джанет, в нашем веке

Как же ей хотелось, чтобы все прекратилось в одночасье! Избавиться от прошлого одним махом, очнуться в новом мире кем-то другим. Джанет никогда не могла похвастаться простотой и ясностью жизни, иные события воспринимались тяжелым восхождением на Эверест. Кто-то из друзей однажды сказал ей: «Эверест не самая высокая гора на земле, существует подводный вулкан Мауна-Кеа, он выше всех, так как большая его часть находится под водой». Возвращение домой обернулось погружением на глубину, в ледяную воду, фридайвингом с задержкой дыхания. Легкие разрывает, а ей говорят: «Еще чуточку — и увидишь!» Ни видеть, ни понимать не было сил, Джанет мечтала поскорее вынырнуть, выплыть на другой берег. Выдохнуть. Открыть глаза где-то далеко отсюда, на теплом песке. Чтобы кошмар кончился и снова настало лето.

Но кадры сна продолжали мелькать перед глазами.

Видео с камеры наблюдения в Летном, снятое незадолго до смерти Косты. Почерневший от мучений человек с белыми невидящими глазами. Сомнамбулическим голосом вещает бред в никуда, задрав голову к потолку:

«С кого писали притчи о блудном сыне? В этом мире чересчур границ и правил. И он ушел, чтобы создать свой. Это не гордыня, а жажда остаться собой. Его мир — свободы».

— Спятил, — коротко констатировал Марат, гася ноутбук.

— Это все из-за лечения, это ты заплатил за смерть моего сына! — обвинения верещали телефонными звонками, их швыряли в Марата, как камни, и в похоронном автобусе.

— Что я должен был сделать? — беззвучно произнес Марат и тут же: — Неужели был другой выход?

Он заботился о Косте, когда все родственники отвернулись, вывел деньги и пожертвовал частью бизнеса, чтобы вылечить его, помочь справиться с собой, выжить, остаться.

«Если наши жизни пишут наверху, то задуман очень печальный роман. Роман скорби и нелюбви, где все отчаянно хотят жить и быть счастливыми, но никто не справляется с поворотом сюжета», — подумала Джанет.

— Коста прав, — тронула за плечо Марата, — ад здесь, он в том, что мы сами себя не прощаем.

Марат не услышал. Смотрел в пустоту перед собой. Сидел, привалившись плечом к заиндевелому окну, касаясь виском стекла, но от дыхания узоры не меняли очертания.

ний, будто дышал мертвец. Светлая прядь волос упала на глаза, синие тени залегли под ними. Усталый Люцифер с заострившимися от горя скулами. Таким не вернешься домой — не узнают, не пустят за порог. Джанет тоже не вернулась, все бродит вокруг да около по истлевшим следам вслепую.

— Я не донес ему свет, — горько усмехнулся Марат, когда гроб понесли в церковь на отпевание, а они остались ждать в зазеленелом автобусе. Коста вечно твердил о кремации, рассказал Марат, даже в летние солнечные дни, когда ловили рыбу на озере втроем с Кириллом, совпав все вместе между больницей одного и тюремными отсидками другого. «Черви чувствуют боль? — спрашивал Коста. — Если да, то жуть просто: сперва нанизали на крюки, а потом спустили в ад кормить чудовищ». — «Ничего, они на нас отыграются, будут жрать в могиле», — шутил Кирилл. «Пожалуйста, если я буду первым из нас, сожги меня!!!» — требовал Коста. Марат обещал. Но не смог выполнить последнюю волю друга. «Кремируют только пропащих, а у нас все будет как полагается», — заявили родственники.

И над могилой они опять стояли вдвоем против всех. Джанет уже видела этот кадр: и в прошлом, над могилой Инги, и в тысяче снов после. Даже время года совпало: после капели и оттепели — заморозки. В кристально прозрачном воздухе клубится пар от свежей, оттаявшей земли. Мороз предыдущих ночей подернул ледяной коркой верхний слой, а внизу, в могиле, земля словно дымилась. Кинули по горсти земли и отошли в сторону: «Знаешь ли ты, что мы здесь, с тобой?»

«Мы расстаемся, чтобы встретиться навсегда», — традиционная фраза за упокой, и все начали медленно расходиться. От звука вгрызающихся в землю лопат передернуло. Перед глазами на миг возник кадр из сна-фантазмагии: лунная дорожка по воде убегает от нее прочь, а горизонт неразличим во тьме. «Единственный источник света по ту сторону — ты сама», — произносит Коста откуда-то издалека. «Но я же ничего не чувствую!» — всякий раз возражает ему Джанет. И просыпается.

Странная теория Косты, описанная в Жанкином дневнике, затягивала, не давала покоя. Слепил ее, вероятно, из образов античности, воскрешенных любимыми им художниками эпохи Возрождения, где Аид изображали как сад наслаждений.

«Но и безусловная вера во встречу навсегда предполагает, что никто нас не делит на лагеря плохих и хороших, что территория запределья едина для всех, воспринимается только в разном свете», — размышляла Джанет.

«Копи свет!» — шептал Коста. Встретил ли Ингу по ту сторону?

Во сне-фантазмагии она была Жанкой, шестнадцатилетним подростком. Взрослой ей, запретившей себе что-либо чувствовать и оглядываться назад, светильник не полагался.

Долгие годы Джанет потратила на то, чтобы принять себя, а потом избыть, выдавив память по капле из головы, из сердца, изгнав из снов. Долгие годы чувствовала себя среди людей, как в глухом лесу. Потерянные одинокие годы выскальзывали из памяти, ничего после себя не оставив, любовники проходили сквозь нее, как тени. Джанет жила изо дня в день, пока прошлая осень не подрезала крылья. Теперь невыносимо ей было в родном городе. Каждый день ей хотелось уехать и забрать с собой родителей, несмотря на протесты: «Здесь мы дома, нам хорошо здесь». Краем сгущающегося безумия в сердцах называла север.

«Ты вернулась, чтобы помочь», — сказала мама, укрывая пледом Марата. После кладбища тот совсем пал духом. Суета кончилась, и он онемел. Джанет затащила Марата домой, поужинать, разговорить, не оставлять одного в пустой, гулкой квартире. Родители были всегда ему рады. «Без тебя они с Костой часто заглядывали к нам в гости, поддержать стариков в одиночестве», — говорили, и Джанет всякий раз чувство-

вала укол совести. После ужина Марат прилег ненадолго и сразу провалился в сон, не разбудить.

Где-то до полуночи Джанет сидела рядом с ним в кресле, а потом усталость унесла и ее в беспросветно-черные сны без сновидений. Очнулась оттого, что кто-то тронул за плечо. «Разыщи его!» — сказал кто-то. Диван пустовал, наверное, Марат проснулся без нее и тихонько ушел. И давно: подушка и плед холодные. Что ж, к голосам во сне и наяву Джанет давно привыкла.

Всматриваясь в свинцовое раннее небо за окнами, Джанет пристально вспоминала, что именно Марат рассказывал о Джексоне.

Доктор Романов, встречались один раз, когда у Кирилла заболел пес, которого он завел в надежде на честную жизнь, а потом сбыл охотникам в поселок Летное. Пес и поныне здоровствует, а Романова Марат больше не видел. Им и тогда общение далось с трудом, пожалели о стаканчике после смены, не о чем говорить было, кроме как о прошлом. Джанет застыла тогда при Марате с остекленевшим взглядом, будто силилась, но не могла вспомнить, о ком речь. Марат уловил ее настроение и перевел разговор на другую тему. Впрочем, и сообщить ему было нечего.

«Романов — последний якорь, — подумала Джанет. — Если подниму, смогу уехать отсюда навсегда».

После лунной походки в метели и разбитого родительского окна всякая мысль о нем нещадно контролировалась, и если не отставала, Джанет приказывала себе: «Прекрати!» — окрик, как удар хлыста, рассекал образ на части, и можно было расшвырять осколки в разные стороны: под колеса проезжающих мимо машин, под столы и кресла в ресторанах и домах — загнать обратно в подсознание, как неумолимо преследующего ее зверя.

«Главный вопрос, — улыбнулся зверь. — Почему мы отказываемся от любви? Ладно, не добровольно. Из страха. Но неужели не перевешивает?»

«Романов жив и поблескивает сединой. Мы оба трачены временем. Что случится, если пойду и скажу ему: я всю жизнь искала только тебя. В других, но тебя. Мир уж точно не перевернется, а мертвые не встанут из могил», — выковывалась последовательность мыслей, как мост.

А за окном окончательно рассвело.

Соседи врубили магнитофон.

«It's a wonderful, wonderful life...»¹⁰ — просочилась сквозь стены музыка прошлого. Прямоком из чилаутов «Неосада».

Евгений Романов, в нашем веке

Смерть молодого человека ощущается поражением. Страшным провалом. Словно превращает в бессмыслицу следы, заслуги, любовь, стремления. Перечеркивает жизнь. Уничтожает ее значение. Словно при рождении человек ошибся дверью — и, не входя, закрыл.

Где-то глубоко внутри Романов понимал, что это последняя смерть. И она не разобьет, а соединит их жизни. Метафизика времени: круг замыкается на новом витке.

На похоронах Косты Евгений присутствовал инкогнито. Никто из некогда близких не узнал его — еще одно доказательство, как сильно меняешься с годами. Никто не пригласил, не известил. Потянуло в то утро на кладбище необъяснимо. Прошла мимо так близко, что даже ощутил ее запах — подснежников. Не оглянулась. Хотел невзначай задеть плечом, чтобы почувствовала: он здесь, рядом. Но промахнулся.

¹⁰ «Black», «Wonderful life», 1987.

У Марата было такое лицо, словно собирался прыгнуть следом за Костой в могилу. Она удержала его на краю, вцепившись в плечо кислотно-зелеными ногтями. Последнего — удержала. Оба выглядели нелепо — постаревшими, истерзанными, заплутавшими во времени подростками. Особенно она: как постновогодняя елка с разноцветными гирляндами афрокосичек — эффект фотошоп на черно-белой фотографии скорби.

Из подслушанных обрывков их тихого разговора выяснилось, что могилы Косты вообще не должно было существовать: пепел по ветру. Помянул Шувано. Его последнюю волю тоже не смог выполнить, как и Марат волю Косты. Мучительный разлом на мифологическое сознание цыганской общины и современный рационализм врача. И неизбежное чувство вины. Невозможно сдержать слово, данное наставнику, не превратившись в дикаря, распилившего тело на куски. Исцелиться помог отец, сделал черную работу за него. Но трещина в сердце не заживала, а при виде человеческой крови мутило. Когда силы покидали, возвращался на каменные круги.

«Из камней, о которые спотыкаешься, построй лестницу в небо», — говорил шаман. Евгений мысленно выложил на круги свои «камни». После смерти Шувано ему не с кем стало посоветоваться, поговорить обо всем, спотыкался и падал молча, а мнимая лестница теряла очертания за низкими, почти черными облаками. Позже Романов понял, что дело не в присутствии наставника, а в умении хранить его образ. Образ складывался из многих-многих людей, наставник не в физическом теле, а в умении учиться самостоятельно, находить нужные ответы через встречных, книги, события, совпадения, знаки и надписи на стенах. Старик-ящерица продолжал жить.

«Смерти нет, — повторяла Раина. — Чего угодно можно дожидаться, но не ее. Смерть не принадлежит времени».

Сегодня утром сказала по телефону: «Твое ожидание кончилось, Жен. Собирайся в дорогу». И предсказала: «Приедешь не один».

Романов шел по следу спокойно, как когда-то Акела выслеживал птиц. С тех пор как Жанка перешагнула порог города и прошлого, она принадлежала ему, и только ему. Евгений и не думал торопить события: чтобы вернуться и встретиться, нужно прийти вовремя: ни раньше, ни позже.

К вечеру над каменными кругами шамана разглядел яркое разноцветье. Еще на кладбище Романов не мог отделаться от ощущения, как не соответствует льдистый аромат нездешним ленточкам вечного лета. Она стояла неподвижно, вполоборота к нему, растворившись в пустоте воспоминаний. Им потребовались долгие минуты, чтобы, столкнувшись взглядом, осознать присутствие друг друга. Дымчатый в сумерках снег, подернутые пеленой, почти слепые глаза, с трудом различающие свет другого. Чужие люди на перепутье.

— Рад, что не забыла меня.

— Скорее, вспомнила. Нам придется узнавать друг друга заново.

Мы хорошо разбираемся в чувствах, когда они становятся воспоминаниями, но не наоборот: когда воспоминания воплощаются (или снятся?) в жизнь. Они вновь шагнули в фантазмагорию. Двое на тропинке под фонарями. Последний в этом году (и первый тогда) снегопад. Двое, состоящие из вспышек молчания, способного сказать больше, чем слова, что заполняют и убивают время, раскрывают непрестанно кровоточащие раны между людьми.

— Я должен был, но ничем не помог вам тогда, не уберег тебя.

— Не должен. Помог тем, что отказался вести дальше. Иногда смысл действия в том, чтобы понять свои пределы и не претендовать на роль бога. Почувствовать ограниченность и найти смелость ее признать, вовремя свернуть с пути.

— Меж двух огней мы пролагаем путь...

Тогда они не смогли ни взобраться на вершину, ни нырнуть в глубину, не хватило опыта, смелости, отступнического отчаяния, а сейчас легко шагали по острой грани почти небытия между прошлым и будущим, между снами и явью, между виной и радостью спасшихся чужой жизнью. Повзрели оба, и это превращало и прошлое, и настоящее в игру, позволило не воспринимать минуты и часы под снегопадом всерьез, а значит, и жизнь — неуловимое, преходящее мгновение, вмещающее в себя вечность. Они будто снова стали детьми, не ведающими ни страха, ни стыда. И фонари, как волшебные светильники, вели их по тропинке к дому. Они шли, и останавливались, глядя друг другу в глаза, и снова отворачивались, и шагали дальше, продолжая играть, будто в игре заключалась жизнь, как свет на кончике пламени свечи.

Игра называлась «Сделай меня своей». Игра на узнавание для пока чужих. Игры, в которые играют люди (взрослеющие и повзрослевшие), неизменны, их набор ограничен — из века в век, из книги в книгу, из фильма в фильм, как видения шаманов на разных концах земли. Игры заменили обряды инициации. «Прятки», «Догонялки», «Разбуди мертвого», «Сделай меня своей», «Обследуйте меня, доктор». Смысл любой из них — проникнуть в другого, став своим в доме его души, сбить наледь с запертых в клетке тела и разума существ, в клетке общепринятого, высвободиться из тюрьмы обучения, образования, законов, морали, философии, этики. Слиться воедино, принять и простить.

— Какие длинные тени бредут за нами по тропинке!

— Они всегда рядом, просто мы привыкли их не замечать. Вина пожирает изнутри, как кислота, но прошлое не изменишь, можно лишь изменить отношение к нему, перестать терзать себя и того, кто рядом.

Разговоры в доме у камина до кромешной ночи за окнами. Покер из далекого детства. Энергетика невозможного. Два варианта полного откровения: отвечать на вопросы или рассказывать что-то ассоциативно, свободно, из глубины памяти. Но каждая история должна перекрывать ставку — превосходить откровенностью предыдущую. Когда понимаешь, что не осталось ничего, кроме того, о чем молчишь даже наедине с собой, у тебя есть выбор: бросить карты на стол, но взамен исполнить желание партнера — самое сокровенное, что огромный риск в их случае: они же чужие, сидят поодаль, он в кресле, она на диване, не прикасаясь друг к другу, не всматриваясь в детали времени, расписавшегося на лицах; либо раскрыть рот, рискуя, что партнер бросит стул или стакан в стену от твоих откровений и заорет: «Как подобных монстров носит земля!»

— А что есть еще у меня для тебя, кроме прожитых слов?

— Тогда говори, не смолкая...

— После того как избил меня, в первый и последний раз, начала ощущать чужую боль. Не могла видеть сцены насилия в соцсетях, фильмах, книгах — заболела физически: температура под тридцать девять и слабость, днями напролет лежала в постели, не могла выйти из дома.

— Почему ты позволила?

— Наказывала себя за побег. Он был твоей копией.

— Но кавказского происхождения. Мы даем женщинам свободу, а они крадут невест, берут женщин в рабство. Все мы живем по зову крови. Внешность обманчива.

— После я позволяла себе мимолетных любовников, чтобы не состарились на моих глазах, не избили, не покинули, а могла бы довериться и просто любить. По красивым местам путешествовала одиножды, чтобы там, где была счастлива, не разочаровываться по возвращении. Все изменяют друг другу — люди, места... Красота изменчива. Остается только бежать, жить вперед...

— Но ты вернулась, — сказал Романов, поднявшись с дивана.

Он долго искал пластинку, ту самую, предсказавшую им, как Раина, когда-то все. Любому из нас предназначен кто-то один. Повезло, что нашли друг друга, не повезло, что так рано, теперь вот приходится возвращаться. И возвращать.

Игла чиркнула по винилу, Романов заметил, как она сжалась в кресле.

— Что-то не так?

— Я запретила себе слушать музыку. Она пробуждает память, уводит в лабиринты прошлого, где можно заблудиться и не вернуться назад. Я боюсь ее.

— Ты исключила вместе с ней и все чувства.

— Хочешь сказать, я мертва?

Он взял ее за руку. Вздогнула, но руку не отняла.

— Ты помнишь Магу?

— Она умерла, когда мне стукнуло двадцать.

— Жаль, что так рано, тогда я еще не выучился на врача. Акела болел в тот год, почувствовал ее смерть, но оклемался, прожил потом со мной много лет.

— Все вокруг меня умирают. Проклятый круг.

— Но мы с тобой еще живы.

— Наверное.

Засмеялась нервно и неожиданно:

— Точно. Да! Я есть хочу.

Бутерброды на скорую руку, и снова взгляды скрестились на проигрывателе виниловых пластинок.

— Поставь, что хотел.

Time, it's need time to win back your love again...¹¹

Время остановилось, будто встало на его сторону. Мать была права: все с ними не сбылось, оно где-то копилось и так и осталось — пока впереди.

После в лунном отблеске из окна — полутьма, полусвет на ее лице на подушке, как двуликая маска. То ли боль, то ли плач, то ли наслаждение. Она рядом и где-то вне его мира. Внутри и снаружи. Наяву и во сне. Позже он вспомнит: именно так выглядит настоящая близость — судорогой бесконечного прощания.

Из дневника Жанки, на грани столетий (неотправленное письмо Джексону)

Я видела, как плачут деревья. И пепел осыпается с ветвей, словно снег. Слышала, как люди сходят с ума. Их крики. Нечеловеческие. Они вспыхнули и — горели, но не было воды, чтобы плеснуть, спасти. Я дышала огнем. Бежала в леса, крича в общей разноголосице жути, сквозь бурелом, отслаиваясь на сучья и ветки клочьями одежды, будто кусками себя. Никто из нас не вернется, а если вернется, то не прежним собой.

Сейды. Древнейший вулкан Гирвас, где приборы теряют точки отсчета, где люди бродят во снах. Их было много. Теней. Шепот леса, из чащи, точно нас окружили, взяли в плен, а потом на закате (в белую ночь!) стало темно, как в открытом космосе. Лес высох после весенних паводков, но не налился соком свежей листвы, не живые, не мертвые кусты и прошлогодняя трава вспыхнули мгновенно. Мы спасались огнем. Они наступали... Никто не поверит.

Я бежала до рези в легких, до падения на разделительную полосу на трассе. Водитель, подобранный меня, брезгливо бросил мне замасленную тряпку на заднее сиденье. Я была чумаза, как трубочист.

¹¹ «Scorpions», «Still Loving You».

Спросил: «Зачем вы туда пошли?»

Выяснить, что зло сильнее и всегда побеждает? Мы и так это знали. На самом деле мы хотели влиться в него, чтобы, став его частью, спастись.

Водитель отвез в больницу: осмотрели, выпустили. Прямо в пасть ментов и мерзкого журналиста, который все спрашивал и спрашивал, не мучает ли меня совесть, что вернулась одна из всех, не дождавшись товарищей по несчастью. Я попыталась объяснить, где искать остальных, но он не дослушал. Хотел, чтобы и я пропала без вести, а он бы сочинил триллер для своей газетенки с любым поворотом сюжета.

Мне некуда было податься, и я пришла к тебе в дом. Раина помогла мне отмыться, дала чистую рубашку. А потом ты забрал меня к озеру. Странно, что никто из вас не спросил, что случилось. Вы привыкли жить за пределами мира. Но нашим последним утром, когда ты спал в палатке, так спокойно и сладко, глядяваясь в твое лицо, я поняла, что ты никогда не видел, как плачут деревья, не бывал на пожарищах, не знаешь, что такое быть изгоем. И надеюсь, никогда не узнаешь. Наверное, все так ложатся спать, я видела это тысячу раз в кино: обнимают со спины, согревая собой, но мне казалось, что только с тобой мне тепло. Ты был у меня первым и, наверное, останешься последним. Мне рассказывали, что будет больно, но мне было хорошо.

Ты сказал: «Запомни это мгновение, внутри него мы всегда будем вместе!» Я уношу твое тепло с собой. Предчувствую, что на кого бы теперь ни посмотрела, увижу тебя. Но ты не сможешь меня защитить. И я не пойду к ним, как ты просил. Потому что уже пыталась. Это как спасти кошку. Одну вырвешь из лап, другую повесят.

Мне было тринадцать, почти четыре года назад, когда меня гоняли по дворам. Но до сих пор я просыпаюсь в ледяном поту, когда во сне мне говорят: «Владя Хирург вышел из колонии. И он ищет тебя».

Этот урод мог вырезать кошке лезвием глаз, а потом повесить на детских качелях во дворе. Никто даже не пытался с ним справиться. Он был десятым беспризорником матери-алкоголички. Учителя старались его не замечать: себе дороже. Терпели до шестнадцати лет: в старших классах никто не обязан был его учить. Выперев из школы, преждевременно вздохнули с облегчением. Он вернулся — вербовать себе банду. А его руками уже взрослые бандиты загребали жар: все налеты на ларьки и квартиры — на счету его банды, но их ни разу не поймали. И у них всегда были мощные покровители из местных урок.

Я кинула в него камнем, от неожиданности — кто посмел рыпнуться против короля района?! — выронил кошку. Та сбежала. И я тоже. Но меня запомнили.

Утром, когда шла в школу, увидела там же, на перекладине детских качелей во дворе, в петле другую кошку. Черную. Никогда не забуду ее остекленевшие глаза, вывалившийся язык и запах — серы и гнилой земли. Я подумала о полосатой, той, что спасла. Стояла на крыльце школы, страхась войти внутрь. Еще не знала, что меня ждет.

Однажды повстречали их банду в лесу, недалеко от дома. Мы с родителями направлялись за водой к роднику, и тут из кустов появились они, преградили тропинку. Называли меня последними словами и смеялись, как подонки. Хирург держал в руках рогатину, целился мне в горло. Запавшие глазницы, щербатые зубы, он был похож на смерть. Мама в ужасе сжала мне плечи, я чувствовала, как ее трясет. Все, что смогли сделать мои родители, — это увести меня к развилке на другую тропинку. Мы прыгали через лужи, почти бежали назад. Домой мы, конечно, вернулись с пустыми кувшинами. И я впервые тогда поняла: никто, никто в мире не способен меня защитить.

Марат пробовал поговорить с Кириллом, но тот только руками развел, он уже тогда был бандитом, а они делят территорию и не вступают в чужие дела. Я тайком ходила на видеосеансы с фильмами о боевых искусствах. Папа тайком от мамы сделал мне браслет из лезвий: потянешь за шнурочек — и лезвия поднимаются шипами. В пе-

щере мы с Маратом заточили лезвия до остроты слюдяных слоев: если догонят, полоснуть по тянущимся ухватить рукам, выиграть время на побег. А чтобы не попадаться, я научилась замирать наверху лестницы и пересчитывать тени: сколько врагов внизу. Молниеносно съезжать по перилам, уворачиваться, выскальзываться из рук. Дважды прыгала в окно со второго этажа, в школе нет туалетов на первом. Оба раза повезло: в стог листьев, в сугроб, даже ногу не подвернула. Так прошла осень, потом зима, а весной в учительской разливали шампанское. Учителя радостно забегали в классы и, будто поздравляя нас с каким-то праздником, объявляли: «Владика отправили в колонию. Надолго. Вы повзрослеете и семьей обзаведетесь, когда его выпустят». Никто не спрашивал, что сделал Хирург, кого убил, все праздновали избавление от монстра.

Но на смену страха приходит гнев. Поначалу испытываешь страх, что боль вернется, а потом гнев к тем, кто ее причинил. А еще к тем, кто не смог защитить. И к себе за то, что терпела. А потом внутри что-то отмирает, и долгое время не чувствуешь ничего.

Еще прошлой осенью я страшно ссорилась с родителями, невольно обвиняя их, что не защищались на лесной тропинке, а побежали, как тусы: взрослые от детей. Мы клеили чертовы картины и вешали на стену в знак примирения, но я и сейчас не могу смотреть на мозаику, вижу все острые углы, и они режут меня на части.

В те дни у меня появилась настоящая подруга из взрослых. Наш школьный психолог. Олеся Николаевна. Моя Олеся. Подарила мне книгу Сэлинджера, называла ловцом теней. Заставила поверить, что я — не то, что со мной случилось, что прошлое можно отсечь, отбросить, как хвост, и начать жить заново. Но даже Олеся я не решилась бы рассказать обо всем, что случилось сейчас. Даже она не поверит. Шепнет кому надо из жалости или из добрых побуждений спасти, а они отправят меня вслед за Костой в Летное.

Мне полегчало, когда ты подарил мне Магу. Она сделала меня волчицей. Теперь я смогу спастись от кого бы то ни было. Перегрызу лапу, попав в капкан. И сбегу. Потому что знаю: красные флажки, вдоль которых гонят волка, — иллюзия, шаткая веревка, и через нее можно перепрыгнуть. Уйти, чтобы выжить.

Когда вернулась домой после нашего с тобой озера, мама положила передо мной газету. Заголовок с моим именем во всю полосу, где печатают криминал. Мы обе поняли: началось. Травля взрослыми хуже, изощреннее: и не имея доказательств, они отправят меня вслед за Владиком, поставят с ним на одну доску, хотя он — маньяк, а я никого не убивала. Но им все равно. Ты сказал: «Признайся во всем, я буду рядом», но ты не сможешь уберечь ни меня, ни даже себя. И потому лучше тебе ничего не знать.

Мама купила мне билет до Питера, буду жить у папиных родственников в Кронштадте. Да где угодно, лишь бы подальше отсюда. Даже ценой того, что никогда не увижу тебя и, возможно, не увижу родителей...

*...поверь,
я и там, поверх темноты,
сумею
написать для тебя
земной рассвет
первых часов бесконечного лета.*

Жанна и Жен, в нашем веке

— Не отпускай меня! — кричала во сне.

Выдернув в утро, прижал к себе.

— Я и не отпускал все эти годы. Любовь не проходит. Поэтому ты вернулась.

Она всегда ощущала тонкую грань между свободой и одиночеством, спрашивая себя: в любимом человеке теряешь себя или находишь? Пробуждение подарило ясность: человек способен быть собственной свободой до встречи, а после нее либо двое сливаются в одно существо по имени «вместе», либо убегает прочь половина. После разлуки исцеляет новая встреча, и ничто другое. Каждому из нас предназначен кто-то один, остальные — его проекции, жалкие копии. «Ловить отражение твоих темных глаз» в глазах других. И сейчас она словно разрушала в себе этих других, обретая единство с тем, кто был ей предназначен.

Ее мир был полон насилия, а мир не переделаешь, не изменишь к лучшему, и она всякий раз выбирала маленький безопасный кусок бытия. И людей, неспособных к агрессии, а значит, к преодолению. Ее спутники не прокладывали свой путь, плыли по течению. Расслабленно прозябая в здесь и сейчас, никуда не стремясь. Они сами были воплощением сон-травы, что крадет время и заставляет забыть, кто ты есть. Впрочем, они и не знали. А Романов — знал. Джексон восполнил в Жанке все, что она не смогла найти когда-то в книгах: природный инстинкт, зов крови, тайну неслучайности. В книгах пишут: «Пока не поймешь, кто ты есть, своего человека не встретишь». Ложь. Это он отрывает твою сущность, отражая ее, как зеркало. Но нужно узнать себя в этом зеркале. И далее не терять из виду.

Они держались за руки даже во сне. Как уставшие от случайных связей, пресыщенные любовники вдруг встречают партнера невероятно близкого и начинают с упованием исследовать все его уголки, так молодость спешит завоевать как можно больше пространства в путешествиях, а зрелость диктует ограничить личную территорию забором и выращивать на ней свой маленький сад.

Просыпаясь рядом, Романов часто ловил себя на мысли, что разница между любовью мужчины и женщины как раз в том и заключается, что мужчина не может сказать «ты во мне», а внутри женщины изначально вся вселенная, нужно лишь разбудить. Он долго пытался стать своим в городе зимы и ветров, но только в ней обрел север как нулевой меридиан, точку отсчета сущего, и теперь уже было неважно: оставаться или уезжать. Север каждое утро просыпался с ним рядом.

— Вам придется приехать в Москву, Жен, — убеждала Раина.

Последняя из рода Романовых, младшая сестренка собиралась замуж. На конец апреля назначена свадьба.

— Отца нет, теперь ты старший мужчина в семье и должен повести ее к алтарю. Мужья сестер не могут тебя заменить, да и она не хочет. Настаивает, это должен быть ты, просит, умоляет. Ты не можешь отказать.

Раина звонила им почти каждое утро, словно оракул предсказывая новый день. Новую жизнь. В Москве.

— Москва — расслоенный город, здесь мы живем своим миром. Не так замкнуто, как на севере. Здесь нас любят. Чем больше город, тем приветливее, равнодушнее к приезжим. Здесь никто не чужой — и все чужие. И потому равны.

Еще несколько лет назад он посылал матери денежные вспоможения, а сейчас Раина участвует в битвах экстрасенсов в телепрограммах, ведет свой семинар для мистиков в каком-то альтернативном институте, и дом-салон у нее на Тверской.

— Понаехали там! — смеялся Романов.

Но Раина настаивала:

— Ты должен продать наш старый дом. Я понимаю, тебе он дорог. Но тебе некого в нем больше ждать. Ты дождался. А наш дом, как черная дыра, продолжает высасывать твои силы, твою энергию, затягивая назад, в прошлое. Зарека — темное, страшное место. Шаман не зря жил на краю, говорил, что стережет зло у ворот. Но его давно нет, а ты не привратник. Избавься от тени, иначе прошлое вас не отпустит.

Романов думал: можно ли избыть прошлое, не уничтожив самость? Но самость сидела рядом, прильнув к телефонной трубке.

— Жанна, — произнесла Раина, с придыханием, нараспев.

И Джанет вздрогнула от красоты своего имени, будто впервые услышала, впервые увидела себя со стороны. Точнее, лучшую свою версию, которой могла бы стать, но не стала. И Джанет в этот момент умерла, уяснив напоследок, что раздвоенное имя — это разлом сущности, а ей так нужно было исцелиться, обрести себя. И у нее получалось!

— Это я к тебе приходила, к маленькой, — рассказывала Раина. — А кто еще? Город же невелик, мы единственные цыгане. Столкнулась с твоим отцом на пороге. Наверное, годы вашего мира его изменили, и, как Жен, он отрекся от зова крови и даже не сказал твоей матери, кто он на самом деле, но я помню, каким он был. Солнечным ветром. Ты одна из нас. И знаешь, что значит быть ведьмой: не раз спасалась от охотников. Жен сказал, ты чувствуешь чужую боль как свою. Это и есть зов крови. Ты многим можешь исцелиться, если примешь свой дар. Ваши с Женом заплутавшие пути — следствие отказа от дара крови. Примете кровь — вернетесь к истокам, вернете себя. Откажетесь — отвергните и себя, и любовь.

Они так и звали друг друга со слов Раины: Жанна и Жен. Новые имена — как тропинка в новую жизнь, детсадовская веревочка, нить Ариадны из темного лабиринта прошлого, конец которой всемогущая Раина крепко держала в своих руках. Ибо время пришло, говорила. Время самоопределения.

Жанна часто вспоминала застывшие во льду волны озера. Как остро она ощутила себя за пределами семьи из поколений законопослушных горожан, не от мира сего. Потому что закон есть лишь один — закон крови. Трагедией было родиться в маленьком городке, где все расписано, предопределено, но каждому из нас установлены горизонты — свьше. И они уверенно шли к своему — тому, что всегда удаляется, и его никогда не догнать. Бродят впотьмах поодиночке, двое всегда куда-то идут. Жанна чувствовала, как рука (времени ли, судьбы, но столь же всемогущая, как у Раины) перерубила канат, и давно затонувший корабль, полный сокровищ и трупов, всплыл на поверхность. Незачем нырять на глубину, на дне остался лишь ржавый якорь. А им предстоит навести порядок на борту корабля.

Дом решили продать и уехать в Москву к Раине. Денег вполне хватало на уютную квартиру на окраине. Покупатель нашелся быстро. Дом снесу, построю шато, заявил он. Зарецкая земля подорожала с тех пор, как стала загородным коттеджным поселком. Несколько дней Жен ходил из угла в угол по дому, пытаясь почувствовать, каково ему на душе от сознания, что эти стены будут разрушены. Тяжко ли оставлять высоту — положение уважаемого доктора в городе, — к которой так стремился, свою исполняющуюся мечту? Но было и вправду все равно, он не лгал себе. И радостная Раина принялась закидывать их предложениями квартир на московских окраинах.

— Возвращайтесь летом! Поедем рыбу ловить на озеро, — вместо тоста пожелал Марат за ужином.

Обоим снова почудилось, что едут на чужую свадьбу, как на свою. Вряд ли вернуться — приедут как гости.

Марат был последним «трупом» на борту корабля. Сокровища Жанна и Жен уже упаковали в дорогу.

«Ты вернулась, чтобы помочь», — сказала тогда мама, укрывая его пледом. Помочь выйти из темного сна: оттуда не возвращаются навсегда, только заглядывают, чтобы увести с собой или свести с ума. Жанна знала, что безумие жития на могилах лечится.

— Как у вас тепло! — всякий раз восклицал Марат на пороге ее квартиры. Точнее, родительской.

Все пятеро вели странный образ жизни. Жанна жила у Жена, дом по договору переходил к владельцу после их отъезда. А Марата ежевечерне ждали к ужину родители Жанны. Засидевшись за разговорами допоздна, он частенько ночевал в ее бывшей детской. Марат будто заново обрел семью. Жанна не ревновала, напротив, обрела брата.

— Мы никуда не поедем, — твердо заявили родители. — Наш дом здесь.

— И правильно, — поддержал их Марат. — Я тоже никогда не уезжал из города и не хочу. Пусть сами к нам приезжают!

После похорон Косты Марат впервые заулыбался. Глупо и искренне. Во весь рот, всем лицом. Раньше его улыбка напоминала оскал хищного зверя. Обнаженные зубы на фоне страдающих глаз, будто улыбка была самозащитой, непроницаемым окном. Мороз от такой продирает по коже. А сейчас его хотелось обнять. Так же искренне он поведал, что имеет средства на выставку картин Косты. Многие годы Марат не только верил, что Инга жива и является ему из зеркала, но и регулярно пополнял счет на имя умерших родителей. Счет не закрыли в банке потому, что Марат был одним из совладельцев. Но веры его это не меняло. Лишь недавно он стал возвращаться, оттаивать.

Город оттаивал вместе с ним. Апрель выдался бурным. После мартовских снегопадов город заливало весенними ручьями, хоть на лодке плыви по улицам. Солнце дрожало бликами в воде, в витринах, слепило глаза до слез. Марат говорил: слезы солнца. Отец Жанны по-прежнему занимался наукой, много работал. А мама, чувствуя себя заброшенной в печальных днях пенсионного возраста, с энтузиазмом взялась помогать их троице организовать выставку Косты в галерее. При жизни Коста картины никому не показывал, жил у Марата, там и хранились, — боялся, что не поймут. «Но время пришло. Для всех нас», — повторяла Жанна слова Раины. Марат тоже так считал и отдал все подаренные ему Костой картины галерее «искусств и ремесел народов Севера». Картины приняли с восторгом, у дирекции не возникло сомнений в таланте художника. В любом случае городок не был избалован произведениями искусства: раз в год столичные заезжие экспозиции, а в остальное время — вышивка, резьба по дереву и поделки из янтаря. И в один из ослепительных дней галерея открыла им двери.

— Искусство — это история человеческих страданий. У художника страшная биография, — рассказывала куратор галереи, обращаясь к зрителям. — В этом я вижу предопределенность, чтобы то, что рвалось через него родиться, родилось, появилось на свет. Он выстрадал свой светлый образ.

Солнце нещадно било в окна. Они стояли у картины «Рождение музыки», изображающей оркестр.

— Чтобы донести до вас истинный смысл этой картины, я сошлюсь на коллективное озарение философии, разные умы прошлых столетий шли к нему разными путями, но так или иначе открывали человека как эксперимент в воплощении Бога. Наши руки — его руки, наш разум — его разум, наши мечты — его цели. Бог на картине — стремление, нуждающееся в инструменте, которое произвело музыкантов на свет, чтобы услышать музыку.

Разглядывая эту картину еще на стене в квартире Марата, Жанна думала, что размытые фигуры музыкантов олицетворяют время. А время, наверное, одно из воплощений Бога. Мимолетное мгновение, ощущение непреходящести преходящего, того, что границу пересечь невозможно: где есть мы, там нет смерти, куда пришла смерть, там уже нет нас. Раина права: тени бессильны, смерть никогда не догонит живых. Человека можно победить, только если сам решит сдаться. А они не сдадутся.

Жанна вырвала несколько листков из своего старого дневника и принесла в галерею, зачитать Жену, что Коста когда-то рассказывал ей о жизненном свете, который нужно накопить в памяти, чтобы освещать собой запредельный мир пустоты.

— Нет, — возразил Романов. — Жизнь есть чувства, их нужно тратить, расплескивать, дарить, а не копить, и это единственное, что уйдет вместе с нами туда, откуда не возвращаются.

ЭПИЛОГ

Провожали всей семьей: мама, папа, Марат. И темные силуэты мелькнули позади на перроне. Жанна не поверила в обман зрения. Не померещились. Были. Как безмолвный крик на картинах Эдварда Мунка, как отвратительные призраки Фрэнсиса Бэкона.

«Они существуют, — явились мысли внутри собственной картины мира. — И третий путь существует. Это путь мистика — между мирами».

Поезд медленно отъезжал, близкие бежали и махали руками вслед, пока не кончился перрон. А тени — нет. Им не угнаться. Пока человек в пути, у него есть цель, а значит, и смысл. Сумрачный мир предназначен для тех, кто утратил смысл или терпение ждать перемен. Все время оба были вне доступа для пустоты: Жанна бежала, Жен не прекращал ждать. Пустота не терпит движения. И теперь они уезжают из прошлого вместе. Навсегда.

«Стражи потустороннего придают смысл сущему, — продолжилось в мыслях. — Без них нет лезвия ножа, на котором мы все подвешены на тонкой нити. Без них избитая фраза „каждый день мы рождаемся“ перелетных птиц дзен, с кем засыпала в псевдообнимку из страха проснуться со своей тенью наедине, — беспамятство идиотов дурман-травы. А сумрак, поднимающийся из-под земли за спиной, дышащий в затылок, придает жизни смысл. Каждый день — как возможность обрести жизнь и прожить собой, а не кем-то другим. Прожить, пока не догонят. Пока дышишь всем существом, как ветер».

Других Жанна и Жен в себе уничтожили. Поначалу его удивляло, что она никогда не спрашивала о зеркале. Разбил в ночь, когда сумрачный гость выпивал с ним и звал за собой, как незадолго Джанет разбила окно с его отражением, танцующим посреди метели, в родительской квартире. Приглядевшись, понял: Жанна не пользуется косметикой. Вообще. Так честнее. Жить с обнаженным лицом. Она не боялась времени, в отличие от всех, кого он познал вместо нее. Не боялась просто быть. С ним рядом. Любой, разной. И Романов забыл всех одинаковых, влюбленных в отражение собственной накрашенной красоты в заколдованном зеркале прошлого, как нимфеи. Зеркало их молодило, а Жанну бы уничтожило. И он разбил прошлое. Жанна же расплела преждевременные обереги лета и барахталась в волнах кошмарных снов. Утро за утром ему приходилось ее спасать, вытаскивать на поверхность. Тем самым спасая себя.

— Твое неотправленное письмо... Если бы я знал все! Мы бы уехали вместе еще тогда.

— Время все расставляет по местам. Ни позже, ни раньше ничего не выйдет, — повторила она, просыпаясь.

После бурных, но непродолжительных споров они сожгли Жанкин дневник на кругах Шувано. Пепел к праху.

Как часто на дне разлуки он мечтал об этом кадре: дымка рассеивается, и слышен стук колес поезда. Колесо жизни. Мечты сбываются, но только сокровенные. Каждое утро мы рождаемся, чтобы...

— Нас заставили поверить, — однажды утром сказала она, — что к тому времени, как мы повзрослели, все закончилось, а может быть, как раз с нас все и начинается? Никто не сможет нас удержать, мы другие, создали новый мир. Взрослели на грани, когда живой рок окончательно сменился синтетическим рейвом, а цоевское «пере-

мен!» вызвало к жизни другие измерения человека — мир биороботов и мукл. Мы сломались на грани и протянулись обломками в обе стороны, в бесконечность. Поколение восьмидесятых — первые, кто смог выбирать судьбу. До этого были совковые ряды кровавых галстуков, как удавки на шеях, как вешалки в магазинах дефицита и талоны на жизнь, как отсутствие личности. А после — глобализация, fake news, gaslight и single-use¹². Кто-то из нас выбрал монолит прошлого, а кто-то трансформер будущего. Неважно кто. Важно научиться летать на сломанных крыльях, как учатся ездить на битой машине. Важно удержать равновесие, как на канате, иначе...

— Все это витки истории. У цыган всегда была воля. Во все времена люди были внутри системы и вне. Замкнувшись, она погибает, нужен воздух, дыхание, приток свежей крови. Но и существование само по себе не имеет смысла, нужен контекст среды обитания, общества, как ветру — опора в пустыне. Мне нравилось вписываться, приносить пользу обществу. Я видел смысл и предназначение не в том, кем рожден, а в том, что выбрал. Абсолютной свободы не существует. Ты волен выбирать, но после несешь ответственность за тех, кого приручил.

Жанна проследила взгляд Жен. Поезд летел по мосту, уводящему к холмам. В про свете озеро лоснилось дымчатым серебром, как шелковая спина дорогого веймаранера. Озеро почти очистилось ото льда.

— Начну изучать породы собак. Йорки у вас там стоят дороже всего в соотношении цена — вес? — улыбаясь, скрестил указательный и большой пальцы в норку.

Жанне нравилась верность Жен: и в Москве будет «доктор Романов». В Москве ветеринарные клиники на каждом углу, весть разлетится быстро, и даже в клинику Южного Бутова будут съезжаться дорогие машины из центра. Собачников связывает любовь к питомцам, а не социальный статус.

А она? Что делать ей? Не готова пока верить судьбу ни Раине, ни кому бы то ни было. Но можно попробовать. И если не получится стать узаконенной ведьмой, то и бежать не придется. Необязательно же балансировать на грани закона, можно просто делать красивые сайты.

— Протянем, — отмахивался от материальных глупостей Жен.

Жанна мечтала начать все с нуля. И усвоила истину Жен: жизнь — это изнурительное воплощение мечты о доме, который всегда в пути. Но парадоксальная мечта все же сбывается, если исходит из глубины души, когда воспринимаешь ее как должное, и не остается ни следа от ощущения чуда.

— Что ты пишешь? — спросил сейчас, заметив новенький хрустящий блокнот в руках.

— Повесть о несбывшемся лете. О наслаждении юностью. Жарком и звездном. Что-то вроде любви в палатке на берегу озера с терпкими на ветру поцелуями. Красиво могло бы получиться...

— И кто это станет читать?

— Мы в старости.

— Вряд ли. Все, что пишется с наслаждением, читается с отвращением. Лучше большую правду или вообще ничего.

Жанна разорвала блокнот и швырнула в окно. Мое лето, решила она, превратится в роман о кризисах перехода, мучительное исследование выдержки памяти. Сейчас три часа пополудни, и близится вечер... А что дальше? Никто не захочет узнать. Никогда прежде в истории человечества сказка о безоблачном счастье не была воспринята всерьез. Так Бог не верил в людей, иначе не создал бы Древо познания для проверки. Мы ее провалили и потому вынуждены умирать, а могли бы жить вечно. Такая

¹² Слова года по версии «Collins English»: «фейковые (ложные) новости», «попытка манипулировать людьми, предьявляя ложную информацию, пока не усомнятся в своем здравомыслии», «одноразовый».

сказка родом из утробы, защищенной от всех северных ветров, но стоит выйти на тропинку, даже с самыми близкими... И счастливый финал неминуем, но тропинка петляет меж испытаниями, потому что мы сами и пропасть, и канат над нею, звенящие провода, убегающие вдаль от поезда и летящие ему навстречу.

— Что если это не время протекает сквозь нас, а мы движемся по его территории? И если так, то почему только вперед? Что если тайный смысл — в возвращении?

— Ты в поезде, — ответил Романов с серьезностью, присущей всем докторам. — А пока человек в поезде, он не может знать, что ждет на конечной станции. Иначе познал бы вечность.

Но Жанна знала. Где-то глубоко внутри она всегда знала. Это как увидеть себя в будущем или быть втянутой в калейдоскоп событий, происходящих в цветистых узорах обоев на чужой стене. Будущее не наступает, как фатум, и не случается экзистенциально, а творится каждым шагом, вздохом, словом. Оно и есть гадание при свечах. Символы. Знаки.

Суть всего — возвращение. И единственные существа, способные это понять, — собаки, ожидающие хозяев.

На платформе в тусклых косых лучах света не жились две северные лайки. Гудок — и они вскочили на ноги, взбудораженно приняв себя. К платформе подходил очередной поезд. Люди вокруг побежали встречать своих людей. Лайки тоже напряженно всматривались в толпу приезжих. Над головами тут и там взлетали голубиные и воробьиные стаи. Ни одна птица не пострадала под натиском человеческой многоножки. В поезде снова не оказалось тех, кого ждали. Но собаки будут ждать, как умеют только собаки. Никогда не перестанут. И рано или поздно дождутся. Но не сегодня.